

Борис Полевой



МЫ-СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

БОРИС ПОЛЕВОЙ

**МЫ-
СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ**

РАССКАЗЫ

Рисунки В. Щеглова

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1980

12
1149

П $\frac{70803-274}{M101(03)80}$ 251-80

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАТВЕЯ КУЗЬМИНА

Матвей Кузьмин слыл среди односельчан нелюдимом. Жил он на отшибе от деревни, в маленькой ветхой избенке, одиноко стоявшей на опушке леса, редко показывался на люди, был угрюм, неразговорчив и любил, с собакой, со старым ружьишком за плечами, в одиночку бродить по лесам и болотам. А весной, когда на деревьях набухали почки и над посиневшими крупитчатыми снегами на лесных проталинах начинали токовать глухари, он заколачивал дверь избенки и с внучонком Васей, сиротой, воспитывавшимся у него, уходил на далекое лесное озеро и пропадал там целыми неделями.

Колхозники не то чтобы не любили, а как-то не понимали и сторонились его: кто знает, что на уме у человека, который чурается людей, молчит и бродит по лесам, неведомо где? Да и охотничья страсть издавна не уважается в деревне. Впрочем, он справно исполнял в колхозе обязанности сторожа, и, хотя перевалило ему уже за восемьдесят, не было в округе человека, который рискнул бы днем или ночью покушаться на добро, охраняемое дедом Матвеем и его лохматым и свирепым Шариком.

Когда военная беда докатилась до озерного Великолукского края и в колхоз «Рассвет» стал на постой лыжный батальон расположившейся в округе немецкой горнострелковой дивизии, командир батальона, которому кто-то донес о мрачном, нелюдимом старике, решил, что лучшего человека в старосты ему не найти.

Матвея Кузьмина вызвали в комендатуру, разместившуюся в новом домике колхозного правления. Ему поднесли стакан немецкой водки и предложили пост.

Старик поблагодарил, от угощения отказался, посетовав на нездоровье, и должность старосты не принял, сославшись на годы, глухоту и недуги.

Его оставили в покое и даже вернули ему в знак особого расположения старое ружьишко, которое он было сдал по приказу коменданта.

Вспомнили немцы о Кузьмине ранней весной, когда стянули в этот озерный край силы для наступления. Дивизия горных стрелков передвинулась к передовым. Батальону, квартировавшему в колхозе «Рассвет», была поставлена задача без боя лесами и болотами просочиться в расположение советских войск и с тыла атаковать передовые заставы части генерала Горбунова. Понадобился проводник, который хорошо знал бы лесные тропы. А кому они могли быть лучше известны, чем деду Матвею, столько раз топтавшему их своими ногами, знавшему в этих краях каждую болотинку, каждую сосенку, каждый камень в лесу, каждую тайную охотничью приметку?

Старика привели к командиру, и предложил ему офицер ночью, скрытно, провести батальон в тыл советских огневых позиций. За отказ посулили расстрел, а за выполнение задания — денег, муки, керосину, а главное — мечту охотника: двустволку знаменитой немецкой марки «Три кольца».

Матвей Кузьмин молча стоял перед офицером, комкая мохнатую и драную баранью шапку. Взглядом знатока посматривал он на ружье, отливавшее на солнце жемчужной матовостью воронения. Офицер нетерпеливо барабанил по столу костяшками пальцев. От этого хмурого, непонятного человека зависела его судьба, судьба батальона, а может быть, и результат всей с такой тщательностью подготовленной операции. И вот теперь, ловя жадные взгляды, которые охотник бросал на ружье, офицер старался понять, что думает сейчас этот угрюмый лесной человек.

— Хорошее ружьецо, — сказал наконец Кузьмин, погладив ствол заскоружлой ладонью, и, покосившись на офицера, спросил: — И деньжонок прибавишь, ваше благородие?

— О-о-о! — обрадованно воскликнул офицер. — Переведите ему: он деловой человек. Это хорошо. Скажите ему: немецкое командование уважает деловых людей. Переведите: немецкое командование не жалеет денег тем, кто ему верно служит.

Офицер торжествовал: найден надежный проводник! Но даже не это было для него самым важным. За пять месяцев, проведенных им в хмурых лесах, куда он попал со своим батальоном из солнечной и веселой даже в своей беде Франции, он начал как-то инстинктивно бояться этих непонятных ему людей, этой коварной природы, этих пустынных лесных просторов, где каждый сугроб, каждый куст, каждый пенек мог неожиданно выстрелить, где даже в глубоком тылу, далеко от фронта, приходилось ложиться спать не раздеваясь и класть под подушку пистолет со взведенным курком.

Но деньги, деньги! Оказывается, даже здесь, у этих неистовых фанатиков, которые при виде наступающего врага сами сжигают свои дома, деньги имеют силу. Как испытующе смотрит на него этот старый человек, старающийся, должно быть, понять, не обманывают ли его, заплатят ли ему!

— Скажите ему, что его услуга будет щедро вознаграждена. Предложите ему тысячу рублей,— торопливо добавил офицер.

Старик выслушал перевод, долго смотрел на офицера тяжелым взглядом из-под изжелта-серых кустистых бровей и, подумав, ответил:

— Мало. Дешево купить хотите.

— Ну, полторы, ну, две тысячи!

— Половину вперед, ваше благородие.

Посоветовавшись с переводчиком, офицер тщательно отсчитал бумажки. Старик сгреб их со стола и небрежно сунул за подкладку шапки.

— Ладно. Поведу вас тайными тропами, какие, кроме меня, только волки знают. Скажите точно, куда выйти надо.

Ему назвали пункт, хотели показать по карте.

— Так знаю. Ходил туда лис гонять. Выведу к утру... Только с ружьишком-то не обмани, ваше благородие.

Видели колхозники, как шел он домой из офицерской квартиры, по обыкновению своему молчаливый, замкнутый, ни на кого не глядя, усмехаясь в бороду. На брань, шепотом посылаемую ему в спину, отвечал мрачной ухмылкой, а когда дюжий парень, бывший колхозный счетовод, догнал его и посулил красного петуха за якшанье с немцами, он только буркнул, не оборачиваясь:

— Поди матери скажи, чтоб нос тебе утерла.

Видели колхозники, издали следившие за избенкой Матвея, как через полчаса сбежал с крыльца внучонок Кузьмина Вася с холщовой сумкой

за плечами, как скрылся в кустах на лесной опушке, сопровождаемый Шариком, как вынес потом на улицу старик свои широкие подбитые мехом охотничьи лыжи и как стал их натирать медвежьим салом, поглядывая на окна избы, где жил немецкий офицер.

А немцы тем временем готовились к выступлению. Их командир сидел у стола и при мертвенном свете карбидной лампочки дописывал письмо своему брату Вильгельму, работавшему инженером на оптическом заводе в Саксонии.

«Милый Вилли,— писал он,— вот уже месяц, как я начал это письмо, и все не соберусь его кончить. Не потому, что у меня не хватает времени. Нет! Времени было больше чем достаточно. Последние месяцы, чтобы убить время, мы, сидя в этих проклятых лесах, повторяли все одни и те же дурацкие учения, которые нам никогда не пригодятся, так как эти русские перевернули войну с ног на голову и воюют без всяких правил. Просто сегодня мы выступаем, и я хочу кончить это письмо до того, как снова испытаю судьбу...

...Поздравь меня: я сегодня, кажется, одержал большую и, признаюсь, неожиданную победу. Я нашел ключ к этой проклятой, загадочной русской душе, которая доставляет нам столько хлопот. Ничего нового, дорогой брат,— это старый добрый ключ, который открывал нам сердца во всей Европе. Денежки, мой милый, обычные, умело преподнесенные денежки, которые, к сожалению, в этой стране мы мало предлагаем, полагая, что эти советские русские — народ особенный и что тут убедительнее звучат автоматы молодцов господина Г. Ты помнишь, я тебе писал в январе о местном патриархе-охотнике с внешностью короля Лира, с каким-то именем, которое я никак не могу запомнить (черт бы побрал эти русские имена!). Сегодня я проэкспериментировал на нем, и, представь себе, дорогой Вилли, эксперимент блестяще удался. Для виду поколебавшись, он согласился доставить нас сегодня... Ну вот, Курт уже докладывает мне, что батальон готов выступить. Прощай, любимый брат, обнимаю тебя, как прежде, а письмо, видимо, придется дописать в другой раз...»

Когда стемнело, горнострелковый батальон, на лыжах, в полном вооружении, с пулеметами на саночках, вышел из деревни и, свернув с большой дороги, стал втягиваться в лес.

Впереди размашистым охотничьим шагом скользил на самодельных широких лыжах Матвей Кузьмин. Тьма сгущалась. Сеяло сухим, шелестящим снежком, и скоро мгла так уплотнилась, что лыжники стали

видеть только спину впереди идущего. Старик вел немцев прямо по целине, а они старались не выходить из его следа.

Всю ночь отряд шел по сугробам, по нехоженому насту, тянулся по оврагам, по руслам замерзших лесных ручьев, проламывался сквозь кустарник. Офицер, следивший за маршем по компасу, много раз оставивал шедшего впереди Матвея и через переводчика спрашивал, почему дорога так петляет и скоро ли конец пути.

Матвей неизменно отвечал:

— Шоссеек в лесу нету... Обожди, ваше благородие, к утру будем,— и напоминал о ружье.

Постепенно теряя силы под тяжестью оружия и боеприпасов, тащились стрелки вековым лесом, которому, как казалось, не было ни конца ни краю.

В потемках они натыкались на деревья, цеплялись за кусты, наступали друг другу на лыжи, падали, поднимались, и им начинало казаться, что этот невидимый лес, тихо и грозно шумящий в ночном мраке, нарочно подбрасывает им под ноги эти сугробы, цепляется за одежду когтями кустов, расставляет на пути деревья.

Окрики ефрейторов уже не могли собрать измученную растянувшуюся колонну.

Когда забрезжил оранжевый морозный рассвет, авангард отряда вышел наконец на опушку и остановился на поляне перед глубоким, поросшим кустарником оврагом.

— Ну, кажись, пришли. Матвей Кузьмин свое дело знает,— сказал старик.

Он снял с головы шапку и вытер ею вспотевшую лысину.

И пока измученные офицеры нервно курили, сидя прямо на снегу, с трудом держа сигареты в окостеневших, дрожащих пальцах, пока ефрейторы гортанными криками выгоняли на поляну последних оставших стрелков в грязных, изорванных в дороге маскхалатах, Матвей Кузьмин, стоя на пригорке, улыбаясь смотрел на розовое солнышко, поднимавшееся над заискрившимися, засверкавшими полями. Не скрывая усмешки, косился он на немцев.

Утро было морозное, тихое. С сухим хрустом оседал под лыжами наст. Звучно чирикали в кустах ольшаника солидные красногрудые снегيري, деловито лущившие маленькие черные шишки. Где-то совсем рядом твкнула собака.

— Матвей Кузьмин свое дело знает,— повторил старик.

Торжествующая улыбка выскользнула из-под зарослей бороды, разбежалась лучиками морщин, осветила его хмурое лицо.

И вдруг тишина была распорота сухим треском пулеметных очередей. Взвизгнули пули, взбивая над слюдой наста острые фонтанчики снега. Эхо упругими раскатами пошло по лесу. С шелестом посыпался иней с потревоженных ветвей.

Пулеметы строчили совсем рядом, почти в упор. Лыжники, не успев даже сообразить, в чем дело, падали на наст со страхом и недоумением на лицах. А пулеметы секли и секли снежную равнину, огнем своим как бы сжимая колонну с двух сторон. Опомнившись, неприятель кинулся было в лес, но уже и там, за кустами, сердито рокотали автоматы...

Солдаты, бросив лыжи, с криками ужаса устремились назад к лесу, увязая в сухом снегу. Сверкающий наст покрывался грязными комьями маскировочных халатов. Командир бросился к старику.

Матвей Кузьмин стоял на холмике с обнаженной головой. Его было видно издалека. Ветер трепал его бороду, развевал седые волосы, обрамлявшие лысину. Глаза, сузившиеся, помолодевшие, насмешливо сверкали из-под дремучих бровей. Он злорадно следил, как, будто стадо овец, металось по опушке чужие солдаты.

У офицера волосы шевельнулись под материей трикотажного подшлемника. Мгновение он с каким-то мистическим ужасом смотрел на этого лесного человека, со спокойным торжеством стоявшего среди поляны, по которой гуляла смерть. Потом рывком он выхватил парабеллум и навел его в лоб старику.

Матвей Кузьмин усмехнулся ему в лицо издевательски бесстрашно: — Хотел купить старого Матвея?.. По себе о людях судишь, фашист!..

Старик вырвал из подкладки треуха сотенные бумажки и, бросив их в офицера, презрительно отвернулся от наведенного на него пистолета. Он заметил, что пулеметчики боятся его зацепить и не стреляют в сторону пригорка, на котором он стоял. Немцы тоже заметили это и старались бежать к лесу, прикрываясь пригорком. Некоторые из них, преодолевая последние сугробы, были уже близко к спасительной опушке.

Матвей Кузьмин взмахнул мохнатой шапкой и крикнул что было мочи, во весь голос:

— Сынки! Не жaley Матвея, секи их хлеще, чтоб ни одна гадюка не уползла!.. Матвей...

Не договорив, он охнул и стал медленно оседать на землю, сраженный пулей немецкого офицера. Но и тому не удалось уйти. Не сделав



и шага, он упал, подрубленный пулеметной очередью, уткнувшись лицом в виленки старика.

А в овраге уже возникло и, нарастая, раскатывалось «ура». Через отполированную ветрами кромку перескакивали автоматчики. Стреляя на ходу, бежали они по поляне, преследуя последних противников, посылая им вдогонку веера пуль, настигали, валили на снег, обезоруживали и бежали дальше, в покрытый снежной пеленой лес, по следам, оставленным на насте.

Вместе с автоматчиками бежал Вася Кузьмин, внучонок старого охотника, которого тот послал через фронт предупредить своих о готовящемся прорыве. В ногах у наступающих бойцов, захлебываясь злобным лаем, катился, проваливаясь в глубоком снегу, лохматый сердитый Шарик. Вдруг собака застыла, недоуменно подняв уши. И грохот боя, гулко доносившийся из леса, прорезал тоскливый, протяжный вой...

Так прожил последний день своей долгой жизни Матвей Кузьмин, колхозник из сельхозартели «Рассвет», что под Великими Луками, славящейся сейчас своими льнами.

Его хоронили на высоком берегу Ловати, похоронили, как офицера, с воинскими почестями, дав три залпа над свежей могилой, буревшей над белыми полями холмиком мерзлой земли.

В тот же вечер начальник дивизионной разведки, разбирая документы убитых, прочел недописанное письмо немецкого офицера, которое так и не получил инженер Вильгельм Штайн из Саксонии.

1942 г.

Майор — человек, по всей видимости, бывалый, собранный и, как все настоящие воины, немногословный — рассказывал о нем с нескрываемым удовольствием.

— ...И еще есть у него странность. И не странность, пожалуй, а особенность, что ли. Не может видеть живого фашиста. Я не преувеличиваю... Ну конечно, каждый из нас имеет с Гитлером, помимо общественных, и личные счеты. Всех нас он от мирных дел оторвал, тому семью разбил, того крова лишил, у того брат или отец убиты, ну, а кто, как мы с вами, побывал на освобожденной территории и своими глазами видел, что они над нашими людьми творили, тот, конечно, особо... Однако тут дело иное. Он ну просто физически не переносит их вида. Мне раз докладывали: стоит он в очереди за супом у взводной кухни, а мимо пленных ведут. Ну, знаете, у нас народ незлопамятный, кричат им: дескать, отвоевались, голубчики! Ну, насмешки там разные, шуточки. Кто-то им хлеба дал. А он как побледнеет, как затрясется. Бойцы: «Что с тобой, чего ты?» А он с кулаками: «Не смей им наш хлеб давать, не смей!» Зубы стиснул, губы кривятся, вот-вот на пленных бросится. И потом, как провели их, все успокоиться не мог. Ушел и обеда не взял... А в другой раз целая история вышла. Назначили его в наряд — пленных караулить. Кто уж это сообразил, так я и не дознался. Он к старшине, чуть не плачет: «Освобождай, не могу!» Тот понятно: «Что за «не могу», встать, как надо! Повторить приказание...»

А он свое: «Освободите, не стерплю, перестреляю их, хоть они и пленные». Старшина в раж: «Я тебе покажу «перестреляю»! Под арест». Пошел он под арест, и как ремень да гвардейский знак с него снимать стали, он как залется в три ручья... Ну, тут мой комиссар подоспел, вмешался, приказ старшины отменил, знак ему сам привинтил, кое-как успокоили...

Послышался стук в дверь. Тонкий голос спросил:

Товарищ гвардии майор, разрешите войти?

Да, да,— ответил майор, и его хриловатый, простуженный баритон как-то сразу потеплел.

Кто-то, невидимый в ворвавшемся со двора облаке морозного пара, вошел в дверь и, звучно стукнув каблуками, взял под козырек:

— Товарищ майор, по вашему приказанию гвардии красноармеец Синицкий прибыл.

В полумраке темной пустой избы, куда свет проникал через единственное уцелевшее, да и то на две трети заткнутое соломой окно, стоял щуплый подросток в полной военной форме. Он выглядел настоящим бойцом, только уменьшенным раза в два. Лицо у него было круглое, курносое, совсем еще детское, с пухлыми губами и нежным пушком на румяных щеках.

Но все — и то, как ловко и складно сидела на нем форма, как туго перехвачен ремнем крохотный армейский полушубок, как лихо заломлена была у него на голове ушанка, и то, как твердо держал он приставленный к ноге короткий кавалерийский карабин,— отличало в нем опытного бойца, прочно вросшего в суровый быт войны.

С виду можно было ему дать лет тринадцать-четырнадцать. Но две тоненькие, словно вычерченные иголкой по щекам возле губ, морщинки да какой-то слишком уж спокойный для его возраста взгляд больших и чистых глаз говорили о том, что пережил он за свою жизнь уже немало, и придавали его лицу взрослое умудренное выражение.

Майор с нескрываемым удовольствием смотрел на этого бравого маленького солдатика, стоявшего перед ним навытяжку. Теплые и веселые искорки зажглись в уголках усталых, красных от долгой окопной бессонницы глаз бывалого офицера. Но отрекомендовал он подчеркнуто официально:

— Познакомьтесь, гвардии красноармеец Синицкий Михаил Николаевич — минометчик и снайпер. Сын нашего полка... Вольно. Садись, Михаил, за стол, гостем будешь.

Мальчик сел и без особого повода, подняв меховой обшлаг рукава, взглянул на золотые часы-секундомер. Мне показалось, что он куда-то торопится.

Сын полка! Так звали в гвардейской части, которой командовал майор Куракин, этого необыкновенного маленького солдата. И с кем ни пришлось мне тогда в этом полку говорить, все произносили эти слова любовно, без шутливого снисхождения, с которым обычно взрослые говорят между собой о подростках, волею случая попавших в их среду. И все охотно рассказывали различные случаи из жизни этого маленького человека.

Вот она, история Миши Синицкого, воспроизведенная по рассказам его однополчан, после того как я снял с нее некоторые явные прикрасы и преувеличения — наивный дар бескорыстного солдатского уважения.

До войны Миша жил в деревне Ивановке, Андреевского района, Смоленской области, обычной жизнью колхозных ребят. Зимой ходил в школу, гонял на коньках по застывшей глади пруда, катался с гор на ледянке — старом, набитом соломой, залитом водой и замороженном решете. Летом помогал родителям в поле, даже зарабатывал трудодни, сколотив ребят в бригады полотьщиков и сушильщиков сена, но больше всего времени, конечно, проводил на речке: ловил раков петлей на тухлое мясо и колот вилкой пятнистых пескарей на речной быстринке у парама.

Была у него детская, но вполне определившаяся страсть — любил он машины и готов был целые дни простаивать под драночным шатром эмтээсовского сарая, благоговейно следя за тем, как чумазные слесари под руководством своего бригадира, веселого, хромонокого Никитина, возятся с машинами. А когда Никитин в знак особого расположения позволял мальчонке обтирать масло с какой-нибудь старой шестеренки с изгрызенными зубьями или доверял закрепить ключом гайки, Миша преисполнялся гордостью.

Стать механиком было его мечтой. Страсть эта зашла довольно далеко. Однажды, когда все были в поле, Миша решил даже починить остановившиеся ходики, смело разобрал их, а потом выяснил, что большинство гаечек почему-то перестало подходить к болтикам и колесиков у него оказался излишек... В результате этого исследования по мягким местам будущего механика прогулялся отцовский ремень.

Ну, а в общем все шло хорошо, и механиком бы Миша, конечно, стал,

А он свое: «Освободите, не стерплю, перестреляю их, хоть они и пленные». Старшина в раж: «Я тебе покажу «перестреляю»! Под арест». Пошел он под арест, и как ремень да гвардейский знак с него снимать стали, он как зальется в три ручья... Ну, тут мой комиссар подоспел, вмешался, приказ старшины отменил, знак ему сам привинтил, кое-как успокоили...

Послышался стук в дверь. Тонкий голос спросил:

— Товарищ гвардии майор, разрешите войти?

— Да, да,— ответил майор, и его хриловатый, простуженный баритон как-то сразу потеплел.

Кто-то, невидимый в ворвавшемся со двора облаке морозного пара, вошел в дверь и, звучно стукнув каблуками, взял под козырек:

— Товарищ майор, по вашему приказанию гвардии красноармеец Синицкий прибыл.

В полумраке темной пустой избы, куда свет проникал через единственное уцелевшее, да и то на две трети заткнутое соломой окно, стоял щуплый подросток в полной военной форме. Он выглядел настоящим бойцом, только уменьшенным раза в два. Лицо у него было круглое, курносое, совсем еще детское, с пухлыми губами и нежным пушком на румяных щеках.

Но все — и то, как ловко и складно сидела на нем форма, как туго перехвачен ремнем крохотный армейский полушубок, как лихо заломлена была у него на голове ушанка, и то, как твердо держал он приставленный к ноге короткий кавалерийский карабин,— отличало в нем опытного бойца, прочно вросшего в суровый быт войны.

С виду можно было ему дать лет тринадцать-четырнадцать. Но две тоненькие, словно вычерченные иголкой по щекам возле губ, морщинки да какой-то слишком уж спокойный для его возраста взгляд больших и чистых глаз говорили о том, что пережил он за свою жизнь уже немало, и придавали его лицу взрослое умудренное выражение.

Майор с нескрываемым удовольствием смотрел на этого бравого маленького солдатика, стоявшего перед ним навытяжку. Теплые и веселые искорки зажглись в уголках усталых, красных от долгой окопной бессонницы глаз бывалого офицера. Но отрекомендовал он подчеркнуто официально:

— Познакомьтесь, гвардии красноармеец Синицкий Михаил Николаевич — минометчик и снайпер. Сын нашего полка... Вольно. Садись, Михаил, за стол, гостем будешь.

Мальчик сел и без особого повода, подняв меховой обшлаг рукава, взглянул на золотые часы-секундомер. Мне показалось, что он куда-то торопится.

Сын полка! Так звали в гвардейской части, которой командовал майор Куракин, этого необыкновенного маленького солдата. И с кем ни пришлось мне тогда в этом полку говорить, все произносили эти слова любовно, без шутливого снисхождения, с которым обычно взрослые говорят между собой о подростках, волею случая попавших в их среду. И все охотно рассказывали различные случаи из жизни этого маленького человека.

Вот она, история Миши Сеницкого, воспроизведенная по рассказам его однополчан, после того как я снял с нее некоторые явные прикрасы и преувеличения — наивный дар бескорыстного солдатского уважения.

До войны Миша жил в деревне Ивановке, Андреевского района, Смоленской области, обычной жизнью колхозных ребят. Зимой ходил в школу, гонял на коньках по застывшей глади пруда, катался с гор на ледянке — старом, набитом соломой, залитом водой и замороженном решете. Летом помогал родителям в поле, даже зарабатывал трудодни, сколотив ребят в бригады полотьщиков и сушильщиков сена, но больше всего времени, конечно, проводил на речке: ловил раков петлей на тухлое мясо и колот вилкой пятнистых пескарей на речной быстринке у парама.

Была у него детская, но вполне определившаяся страсть — любил он машины и готов был целые дни простаивать под драночным шатром энтээсовского сарая, благоговейно следя за тем, как чумазные слесари под руководством своего бригадира, веселого, хромоногого Никитина, возьмется с машинами. А когда Никитин в знак особого расположения позволял мальчонке обтирать масло с какой-нибудь старой шестеренки с изгрызенными зубьями или доверял закрепить ключом гайки, Миша преисполнялся гордостью.

Стать механиком было его мечтой. Страсть эта зашла довольно далеко. Однажды, когда все были в поле, Миша решил даже починить остановившиеся ходики, смело разобрал их, а потом выяснил, что большинство гаечек почему-то перестало подходить к болтикам и колесиков у него оказался излишек... В результате этого исследования по мягким местам будущего механика прогулялся отцовский ремень.

Ну, а в общем все шло хорошо, и механиком бы Миша, конечно, стал,

но помешало непредвиденное обстоятельство — началась война. В первый же день отец Миши отправился в военкомат.

— Смотри, Михаил, один мужик в доме остаешься. Береги бабто,— полушутя, полусерьезно говорил отец, вскакивая на одну из телег, в которых колхоз отправлял в район мобилизованных.

И в самом деле остался Миша за старшего при хворой матери да двух маленьких сестренках. Издали война не очень пугала. Не тронула она на первых порах и колхозных достатков, накопленных за последние годы. Ребята по-прежнему, не слишком загруженные делами, бегали по окрестности, играя в красноармейцев и фашистов, причем фашистами никто, понятно, быть не хотел, ими становились по жребью, и красноармейцы в два счета разбивали их в пух и прах.

Миша Синицкий издали следил за этими играми, тщательно скрывая свой к ним интерес.

— Недосуг мне: хозяйство мужского глаза требует. Женщины, они что, на них какая надежда! — говорил он солидно одногодкам, звавшим его «воевать Гитлера».

Но однажды — и это случилось неожиданно скоро — война придвинулась к Ивановке. Это была уже не игра. Сначала по большаку тянулись бесконечные колонны беженцев, машины, подводы, груженные скарбом, гурты пыльного голодного скота. Этот печальный поток нес с запада вести одна другой удивительнее — о каких-то танках, не знавших преград, о ревуших самолетах, уничтожающих все и вся. Потом появились и самые эти самолеты. Они скользили вдоль большака, обстреливая беженцев, и колхозникам пришлось закапывать трупы убитых авиабомбами.

Вдали нестрашно, точно летний гром, загромыхла артиллерия. Прозвучал слух о прорыве немцев где-то у Витебска, потом потянулись войска. Шли они не в ногу, без строя, рассыпанными усталыми колоннами. На солдатах просоленные гимнастерки. Лица черные от пыли. Бойцы торопливо шли деревней, сердитые, неприветливые, ни на кого не глядя, не отвечая на расспросы. В этот день из колхоза на восток погнали стадо. Миша вызвался было в поводыри, да столько оказалось добровольцев уходить в тыл, что его и слушать не захотели. И мать все еще хворала, сестренки были мелки. Словом, Миша остался. На следующий день по шоссе уже ползла колонна чужих танков и машин, окрашенных в цвет щучьей чешуи, и цвет этот всем казался зловещим.

В этот день в Ивановке ничего особенного не случилось. Залетело ненадолго несколько мотоциклистов в рогатых касках, в смешных коротеньких куртках и нескладных каких-то сапогах с куцыми широченными голенищами. Солдаты напилье у колодца, о чем-то полопотали между собой, а потом принялись с хохотом носиться по деревне за курами и гусями, причем били они их каким-то новым, неизвестным способом — тонкими хлыстиками по голове, да так ловко, что курица или гусь с одного удара валились на спину. Нагрузив птицей полные прицепные колясочки, все так же перемигиваясь и похохатывая, немцы с треском умчались, и по деревне пошел говор, что не так страшен черт, как его малюют. Появилась надежда, что удастся как-нибудь потихоньку перебедовать, пока Красная Армия соберется с силами.

Старики вспоминали ту германскую войну, говорили, что верно — и тогда немец был охотник до птицы, однако хлыстиков таких у него еще не было, и что действительно, должно быть, в фашистской армии техника куроедства куда выше, чем в кайзеровской. Мальчишки же, которые поменьше, изучив за этот первый вражеский визит начатки немецкой речи, твердили на все лады: «Матка, курка! Матка, яйка!»

Дней десять ползли по шоссе машинки, машины, машинищи. Потом фронт ушел на восток, канонада стихла, и деревня узнала по-настоящему, что такое фашизм и что такое неволя.

Вместо немцев в униформах цвета болотной ряски приехали на машинах немцы в черных мундирах, и Миша Синицкий за несколько дней увидел столько и такого горя, какого, не случись войны, не увидел бы никогда. Он видел, как при народе, специально согнанном за околицу, расстреляли фашисты трех человек: неизвестную девушку, Миколаича — безобиднейшего старика, выполнявшего обязанности инспектора по качеству, и любимца Миши — хромоногого эмтээсовского бригадира Никитина. Никитин стоял у сарая связанный и не переставал сулить палачам страшные кары и разносить в пух и в прах фашизм и Гитлера, пока не упал на траву, простреленный автоматной очередью. Потом солдаты зарезали быка-производителя Ваську, за которого колхоз получил золотую медаль на сельскохозяйственной выставке. Из крестьянских домов были под метлу изъяты все найденные запасы, а заодно из сундуков исчезла и вся сколько-нибудь годная к носке одежда, какую люди не успели позакопать. А когда началась зима и снег покрыл печальные неубранные поля с космами побуревшей несжатой ржи и с черной картофельной ботвой, солдаты выселили крестьян из изб.

Мать Миши не хотела покидать жилье. Поселившийся у них очкастый немец взял ее за плечи и вытолкал из сеней, да так, что она, поскользнувшись на ступеньках, упала лицом в сугроб.

Миша перевел ее и сестренку на огород, в просторную щель, предусмотрительно вырытую еще отцом в первые дни войны на случай бомбежки.

Устроив своих в земляной норе, утеплив ее сверху соломой, дерюжками, старым тряпьем, выдолбив в земле очаг и натаскав хворосту, Миша, ничего никому не сказав, исчез из деревни. Он пошел искать партизан, о которых много и со страхом лопотали стоявшие в деревне немцы. Что делали партизаны, деревня пока еще не знала, но страх перед ними у оккупантов был так велик, что солдаты стали на ночь заставлять ворота дворов телегами, санями, а окна заваливали всяческим домашним скарбом. Не зная ни явок, ни базы, маленький колхозник несколько дней проскитался в лесу и, хотя это может показаться невероятным, нашел таки партизан. Среди них оказался колхозный агроном, два учителя и слесарь из МТС — словом, знакомые ему люди.

Попав к своим, обессиленный, полузамерзший, Миша, едва придя в себя, принялся рассказывать партизанам о гестаповских бесчинствах, о малочисленности гарнизона и о паническом страхе немцев перед партизанской мстью. В эту же ночь он сам привел отряд в Ивановку. Налет удался. Не многие из незваных постояльцев ушли живыми. Отряд вернулся в лес, увезя богатые трофеи.

Был уже студеный декабрь. Трещали морозы. Разгромленные под Москвой немецкие части отступали по глубоким снегам. По шоссе мимо деревни, по широким, прокопанным в снегу траншеям дни и ночи непрерывно двигались на запад колонны госпитальных автофур. Отступающим было не до партизан, и случай в Ивановке сошел безнаказанно.

Но вскоре в деревне стала на постой большая саперная часть, начавшая строить у шоссе укрепленную полосу. Опять население выгнали из изб в бункеры, опять начались поборы. Это были опытные оккупанты. С помощью собак отыскивали они на задворках и на огородах ямы с закопанным добром, раскапывали их, отнимали у жителей последнее, что оставалось. Они уже утратили былой лоск, бродили по деревне в валенках, шубах, напяливали поверх шинелей все, что могло греть.

Окрыленный первым успехом, Миша решил снова привести партизан.

Но все не было случая. Оккупантов теперь стояло в деревне много, да и бдительнее они стали: выставили посты, караулы, секреты, а темными ночами непрерывно жгли ракеты, и трепетные, мертвые белесые огни до самого утра метались над полями.

Но вот подвернулся и случай. Подошло немецкое рождество. Немцы с утра побрились, приоделись. Из тыла приехала машина. На ней привезли в бумажных мешках тюки с подарками и какие-то сделанные из картона складные елки, украшенные блестками и ватой. Солдатам выдали дополнительные порции рома, и они, выгнавши женщин с детьми на лютый мороз, в обледенелые земляные ямы, уселись за столы, на которых стояли эти эрзац-деревья, пристроили под елки фотографии своих жен и детей, запели рождественские песни.

Вот в этот-то момент партизаны и ударили по деревне. И опять оккупанты бежали, впопыхах оставив незаведенные машины и богатый саперный инвентарь. Партизаны машины эти сожгли, а инвентарь разломали. Рождественские же подарки командир отряда, коммунист-учитель, преподававший когда-то Мише историю, велел раздать тем из женщин, у кого были маленькие дети. Темной морозной ночью Миша ходил по дворам с большим мешком, распределяя подарки немецкого рождественского деда, переадресованные партизанами.

Вот тут-то осторожный мальчик и сплоховал, выдав свою связь с отрядом. Когда наутро нагрянули каратели, уже знакомые ему немцы в черном, называвшие себя эсэсманами, и опять начались аресты и пытки, кто-то, должно быть, сказал про Мишу Синицкого. Мальчик успел ускользнуть, но эсэсманы схватили его мать, сестренку, всех его близких и дальних родичей, заперли в погребе, где в счастливые колхозные времена хранился слив молока с молочнотоварной фермы.

Должно быть, маленький колхозник сильно заинтересовал карателей. Может быть, через него хотели они отыскать тайные тропы к партизанскому лагерю или их нервничающее начальство грозно требовало из Смоленска обязательно выловить заводил мятежной деревни, но только на перекрестках дорог, на дощечках с дорожными знаками были расклеены объявления. В них командир особого «подвижного отряда» извещал, что если к такому-то числу и такому-то часу «отрок» Михаил Синицкий не явится в здание бывшей школы-семилетки, то его мать, сестры, родственники, арестованные по его делу, будут расстреляны; «буде же оный отрок явится», всех их выпустят, а его самого только вышлют в Германию «для прохождения трудового воспитания».

И Миша решил явиться. Как ни убеждали его партизаны, говоря, что этим он никого не спасет и только себя погубит, как ни доказывал ему комиссар-учитель, что все понятия о воинской чести, долге, о которых когда-то рассказывал он школьникам, фашизм растоптал и оплевал, в мозгу у мальчика упрямо вертелась мысль: «Ну, меня расстреляют — и пусть, я партизан; а мать, сестренки, родственники за что? Лучше одному каюк, чем всему роду».

Словом, кончилось тем, что, устав убеждать, командир запер его в землянке, приперев колом дверь. Но ночью мальчишка прокопал ходок, ушел из лагеря и сам явился в помещение семилетки к эсэсовскому начальнику. Даже потом, годы спустя, он не мог спокойно рассказывать, как хохотал ему в лицо рыжий раскормленный штабист, хохотал, раскачиваясь на стуле, обнажая металлические зубы. Время от времени он переводил дух, отирал пот, опять поглядывал на пораженного мальчика, на объявление, которое тот держал, и снова принимался смеяться, точно его щекотали. Потом, вдруг оборвав смех, он махнул рукой и что-то сказал стоявшему у двери солдату. Солдат схватил Мишу под руки и вынес из комнаты, плачущего, бешено отбивающегося.

Миша не помнил, как очутился в погребке. Он очнулся, ощутив на лице прикосновение чьих-то ласковых, нежных, знакомых рук. Он сразу понял: мать. Невидимая в темноте, она наклонилась над ним и охлаждала ему виски чем-то холодным и мокрым. Это был иней. Стены и потолок погребка были затянуты им, точно белым мехом. Но помещение было так тесно набито людьми, ожидавшими смерти, что иней таял и с потолка капало. Рядом с матерью разглядел Миша сестренку и всех родичей. И тут он понял все. Припадок бессильного бешенства охватил его. Он бросился на кирпичный осклизлый пол, колотя его кулаками, обливаясь злыми слезами, никому не отвечая, не слушая ничьих утешений. Потом стих, смолк, забился в угол, как затравленный зверек. Мать баюкала младшую сестренку, грея ее своим телом. Ровно и гулко раздавались шаги часового, ходившего по погребнице из угла в угол. Кто-то надсадно кашлял, надрывая отбитые легкие.

«Дурак!.. Какой дурак!.. Поверил! Кому поверил!..» — неотвязно думал Миша. Людей сломил тяжелый сон. Знакомо всхрапывая, спала мать, привалившись к стене; почмокивала губами спавшая у нее на коленях младшая сестренка. Хрупал снег под сапогом часового. Где-то наверху выли, звенели цепями псы! А Миша не спал, кляня себя, мучаясь своим бессилием, и, вспоминая эсэсовского начальника со сталь-

ными зубами, стонал от бессильного гнева и тоски. Может быть, в эти часы и легли навсегда две горестные морщинки на его румяном лице, покрытом ребяческим пушком.

И вдруг под утро совсем рядом послышалась ружейная стрельба. Подвал мгновенно ожил. Все сбились в кучу, прижимаясь друг к другу. Стрельба становилась слышной. Над головой грохнула автоматная очередь. Что-то упало, и стало тихо. Потом по погребнице кто-то прошелся, мягко ступая, глухо стукнуло отброшенное тело, открылся люк, и глаза Миши резнул острый голубой свет зимнего утра.

— Эй, там, живые-то еще есть? — спросил взволнованный задыхающийся голос.

Произошло все это в дни первого зимнего наступления Красной Армии, в бурные боевые дни, когда бывало, что за ночь фронт отодвигался на запад на десятки километров. Гвардейский полк, наступавший по шоссе, ворвался в Ивановку и неожиданно освободил Мишу и его родственников. Когда в деревню вернулась Советская власть и мальчик мог уже не беспокоиться о судьбе матери, он пристал к гвардейской лыжной части, освободившей его деревню. Его не хотели брать, убеждали вернуться домой, гнали прочь.

Он дошел до майора, и тот, узнав от солдат его биографию, разрешил зачислить его на довольствие.

Мише сшили форму, выпросили для него у кавалеристов коротенький карабин, и стал Михаил Синицкий гвардии красноармейцем, участником всех боевых дел своего лыжного батальона, несущим наряду со всеми походные тяготы.

Его определили в минометный взвод. Наблюдательный, усидчивый, толковый, питавший издавна страсть к механизмам, он быстро усвоил несложную технику минометного дела и вскоре получил значок «Отличный минометчик».

Но минометчику не каждый день приходится бить по врагу. Ненависть же у этого маленького бойца была так жгуча и неиссякаема, что не давала ему покоя. Оставаясь минометчиком, он подружился со снайперами. В свободные от боев дни он в белом халате, им самим обшитом еловыми ветками, до рассвета выходил на опушку леса и устраивался где-нибудь на кромке передовой, поближе к неприятельским позициям. Хитро замаскировавшись, он ждал, ждал часами, ждал иногда весь день, до рези в глазах всматриваясь в снежные просторы. Он выжидал, пока по дорожке не покажется фигура противника, вылезшего из блиндажа на

воздух. Тогда Миша весь инстинктивно подбирался, ловил ее в прицел, замирал затаив дыхание, срастаясь в одно целое с коротеньким карабином.

Выстрел — и, точно споткнувшись, противник падает. В такой день Синицкий являлся в роту напевая. Его звонкий мальчишеский смех раскатывался и звенел, такой чуждый и странный в суровой окопной обстановке.

Но случались неудачи. Однажды Миша пришел с «охоты» мрачный, молча бросился на нары, уткнулся носом в изголовье и стих. Стали его расспрашивать, что с ним, чего заскучал. Оказывается, выследил он офицера в высоковерхой фуражке и шинели с меховым воротником. Он напомнил ему того, с металлическими челюстями, что смеялся над ним в школе, когда пришел он сдаваться.

Миша прицелился особенно тщательно. Он весь окаменел. Но в момент выстрела наст просел у него под локтем, и он промахнулся. Офицер оглянулся и, уронив впопыхах фуражку, прыгнул в окоп. Забывшись от злости, снайпер выстрелил в фуражку. Второй выстрел обнаружил его. Его заметили. По нему открыли частый огонь. Миша слушал свист пуль над головой и, не думая об опасности, бранил себя всеми известными ему ругательствами. Такая цель! Прозевать такую цель!

И, вспоминая об этом, Миша вдруг зарыдал, зарыдал совсем по-детски, вытирая глаза кулаками.

Однажды в деревню, где разместились отведенные на отдых лыжники, заехал командующий фронтом, прославленный советский полководец, направлявшийся на свой наблюдательный пункт. Шофер притормозил у колодца, чтобы залить воды. Генерал вышел размяться и тут увидел гвардии красноармейца Михаила Синицкого, направляющегося с котелком в кашеварку, расположенную через улицу.

Командующий окликнул его. Синицкий не оробел, представился ему по форме — да так весело и лихо, что сразу завоевал сердце старого советского воина. Командующий спросил Мишу, кто он и что здесь делает, и, получив толковый и обстоятельный ответ, приказал порученцу записать Мишину фамилию и часть. Радиатор залили водой, генерал уехал. Отдохнувшие лыжники снова пошли в бой, и Миша забыл о встрече в деревне. Но вдруг приходит из дивизии шифровка. Гвардии красноармейца Синицкого Михаила с вещами и аттестатом под ответственность командира батальона требовали доставить в штаб фронта.

Разъяснялось в ней, что по приказу командующего его направляют в тыл учиться.

Но на этом не закончилась военная история гвардии красноармейца Синицкого. Некоторое время спустя командующий фронтом вечером, сопровождаемый охраной, задумчиво шел по штабной деревне, возвращаясь после разговора по прямому проводу. И вдруг, вывернувшись прямо из-под ног бойца охраны, перед ним возникла маленькая фигурка в складном военном полушубке. Она вытянулась, щелкнула каблуками и звонким голоском четко отрапортовала:

— Гвардии красноармеец Михаил Синицкий. Разрешите обратиться, товарищ генерал-полковник.

Командующий был доволен результатом только что окончившихся переговоров. Он сразу узнал мальчика и, удивленно глянув на него, ответил:

— Ну, обращайтесь. Прежде всего доложите: откуда вы здесь взялись? Как сюда попали?

Маленький солдат только свистнул по-мальчишески и махнул рукой, показывая этим, что для него попасть в штаб фронта да прямо под ноги командующему — дело не слишком трудное. Генерал расхохотался и приказал бойцу Синицкому следовать за ним. В избе генерала между ними произошел разговор, который я воспроизвожу с возможной точностью с собственных слов командующего.

— Почему до сих пор не в училище?

— Разрешите доложить, товарищ генерал-полковник, хочу воевать.

— Вот выучишься, станешь офицером и пойдешь воевать.

— Да-а... тогда и война-то кончится, без меня фашиста побьют, товарищ генерал-полковник.

Командующий помолчал. На его суровом и не улыбочивом солдатском лице появилось какое-то совершенно не свойственное ему растроганное выражение, а серые глаза, взгляд которых заставлял трепетать иной раз и генералов, сузились и залучились теплым смешком.

— Стало быть, обратно в полк?

— Так точно. А после войны учиться. Я молодой, мои годы еще не вышли, товарищ генерал-полковник; а то, пока они по нашей земле ползают, мне и учеба в голову не пойдет.— И, позабывшись, превращаясь из солдата в мальчугана, он добавил: — Вы-то их не знаете, откуда вам их знать, а я-то их нагляделся досыта.

Генерал широко улыбнулся, что тоже случилось с ним редко.



— Ну, будь по-твоему. Воюй,— сказал он, подумал, отстегнул с руки часы и протянул их мальчику: — А это тебе от меня на память... чудо-богатырь. Давай руку, сам пристегну, чтобы не потерялись.

И, оглянувшись на дверь, он вдруг обнял круглую стриженую голову мальчугана и поцеловал его в лоб, как отец, благословляющий сына на подвиг.

— Ну, ступай, воюй,— повторил он и отвернулся к карте, с несколько преувеличенной старательностью рассматривая на ней какой-то пункт.

И гвардии красноармеец Михаил Синицкий вернулся в батальон и опять стал воевать.

1942 г.

В дощатую комнатушку одного из немногих уцелевших в поселке зданий, где сразу же после изгнания немцев разместил свой кабинет председатель Нелидовского райсовета, мелкими шаркающими шажками вошла маленькая, сутуловатая, не по возрасту подвижная женщина лет шестидесяти. Ее пушистые кудри, выбившиеся из-под глубоко надвинутого берета, были снежно-белы, но глаза, черные, большие, еще красивые, глядели молодо, и живость их странно контрастировала с серебром волос.

На мгновение она изучающе остановила взгляд на усталом лице председателя и потом, точно решив про себя, что это человек стоящий и говорить с ним можно по душам, спросила:

— Вы не бывали в Торопце? Нет. Очень жалко. Если бы вы бывали в Торопце до войны, вы бы, наверное, знали моего мужа. Меня зовут Сара Марковна, Сара Марковна Файнштейн. Я жена Гершеля Файнштейна, лучшего в Торопце мужского портного, и мать трех сыновей, которые все сейчас в Красной Армии и все воюют с немцами. Дай бог всем хорошим людям иметь таких сыновей!

Она села бочком на краешек предложенного ей роскошного кресла, неведомо как попавшего в эту неуютную каморку с темными бревенчатыми стенами и, теребя сухими, точно обтянутыми пергаментом, пальцами бахрому черной шали, продолжала:

— Нет, вы, пожалуйста, только не подумайте, что я пришла к вам

о чем-нибудь попросить как красноармейская мать. Нет, нет, как можно! Я приехала к вам издалека по делу, по очень важному делу. Вы меня слышите? Я ехала к вам из Торопца трое суток на трясучих грузовиках по этим самым ужасным деревянным дорогам,— чтобы самому Гитлеру по ним до самой смерти кататься! Вы это слышите? Я приехала рассказать вам, какие люди живут в вашем районе... Нет, нет, не беспокойтесь, я вас не задержу... Это касается не только меня. Боже упаси, разве я направилась бы в такой путь, если бы это касалось только меня! Но вы же глава района, вы должны знать, какими достойными людьми вы руководите. Вы знаете колхоз «Буденный», тот самый, что на Торопецком тракте? Знаете? Ну, чего вы молчите, скажите «да» или скажите «нет».

— Знаю,— произнес наконец, с трудом подавляя улыбку, председатель странным, приглушенным голосом.

Около года, пока район был оккупирован немцами, он партизанил со своим отрядом в здешних лесах, именно в лесах, так как оккупанты, превращая этот край в «мертвую зону», сожгли здесь почти все деревни, кроме тех, что стояли у большаков. За год, проведенный в лесных чащах, в землянках, у костров, председатель отвык от жилья и теперь никак не мог соразмерить свой звучный бас с крохотными размерами кабинета и поэтому, боясь оглушить человека, стеснялся говорить в присутствии посторонних.

— Ну вот, вы знаете, и очень хорошо. Теперь слушайте меня, слушайте внимательно, я расскажу вам что-то такое, что вас, как главу района, обязательно поразит в самое сердце.

Торопясь, волнуясь, старушка принялась рассказывать о том, что пережила и видела она в этих краях в лихую пору немецкой оккупации.

В первый же день войны Сара Марковна проводила в военкомат младшего сына. Вскоре ушел на фронт старший сын, оставив на попечение старикам свою жену Хану. Средний был кадровым военным и уже воевал где-то в Белоруссии.

Когда немецкие дивизии прорвались к Неману и Торопец был объявлен на осадном положении, старый Гершель отыскал в сарае ржавый заступ и, захватив с собой смену белья, ушел в один из рабочих батальонов, строивших под городом оборонительные рубежи.

— Не беспокойся, Сара, главное — без паники. Дальше старой границы их не пустят,— говорил он, прощаясь.— Ну, а если какие-нибудь шальные прорвутся, их задержат на наших окопах. Ты знаешь,

какие это будут окопы? Ого! — И он торжественно потряс ржавой лопатой перед заплаканным лицом жены.

Но немцы прорвались сквозь старую границу. Не удержали их в этих краях и новые оборонительные рубежи. И вот однажды поток беженцев, двигавшихся на восток по Торопецкому тракту, поток молчаливых, подавленных людей, грузовиков, подвод, груженных скарбом, гуртов пыльного, усталого скота, поток, несущий с запада, с оккупированных земель, глухие слухи о бесчисленности сил наступающего врага, о его свирепости, смысл и семью торопецкого мужского портного.

Бросив все добро, даже не заперев квартиры, Сара Марковна вышла ранним утром из родного города с дочерью Раей и невесткой Ханой. Они поддерживали старушку под руки и несли ее узелок.

Это было в те дни, когда фашизм упивался своими победами. Берлинское радио непрерывно играло марши и каждый час передавало сводки о взятых деревнях и городах. Вражеские летчики развлекались тем, что пикировали с поднебесья на живые реки, лившиеся по большим и малым дорогам на восток, в глубь страны. Они тренировались в бомбометании, целя в беженцев. Истребители с черными крестами на крыльях носились на бреющем полете над головами беззащитных толп, поливая их огнем пулеметов и пушек.

При выходе из Торопца, на мосту, пуля такого истребителя убила Хану. Ее труп вместе с другими отнесли в сторонку и положили у реки в тени прибрежной ивы.

Через день от бомбы пикировщика погибла Рая. На месте, где стояла девушка, осталась только глубокая дымящаяся воронка.

А Сара Марковна все шла и шла, шла как-то механически, окаменев от горя, шла, ни о чем не думая, ничего не помня, кроме того, что нельзя отставать от этого людского потока, нужно двигаться на восток во что бы то ни стало.

Чьи-то руки поднимали ее, когда она без сил падала в горячую пыль дороги. Кто-то давал ей кусок хлеба или картофеля, и она, даже не поблагодарив, съедала это, не чувствуя ни голода, ни вкуса пищи. По ночам незнакомые голоса подзывали ее к кострам, и она подходила, грелась у чужого огня — мать большой семьи, оставшаяся вдруг одинокой.

На четвертые сутки она занемогла. Сойдя с дороги, она легла в пыльную, затоптанную траву, пахнущую дегтем, бензином и конским потом. Она решила, что тут и умрет, так как уже не в силах была двигаться. Мимо нее, стуча колесами, тянулись телеги. Тоскливые, не-

доумевающие, детские глаза смотрели из-за пыльных узлов. Роняли желтую пену усталые кони, скрипели колеса, печально мычал изнывающий от жары, задыхающийся в пыли скот.

У людей, шагавших за телегами, тащивших на плечах, кативших на велосипедах, в ручных тележках, в детских колясках узлы с остатками добра, были сухие, воспаленные, ничего не видящие глаза. Черные от зноя и пыли губы были плотно сжаты. Сара Марковна отвернулась. Она понимала, что у каждого из них с избытком своего горя, чтобы думать еще и о чужом. Она не просила о помощи. И всё-таки нашлись люди, которые на руках донесли ее, больную, изнемогшую, до ближайшей деревни, до первой избы.

— ...Своего горя полон дом, а тут чужое несут,— услышала она чей-то неприветливый голос.— Своих полна изба, а тут на пожалуйста... Да кладите, кладите, чего уж тут! Ох-хо-хо!

Кто сказал эти слова, Сара Марковна не знала. У нее не было силы поднять тяжелые, точно сросшиеся воспаленные веки. Она очнулась только на другие сутки и с удивлением огляделась кругом, не понимая, где она, что с ней.

Лежала она на лавке в просторной крестьянской избе. Яркие лучи полуденного солнца врывались сквозь сероватую зелень стоявших на окнах гераней. Потрескивая, топилась печь. Мушиный рой надрывно гудел над столом, на котором лежали ложки, хлеб и дымила, остывшая, миска со щами,— к ней, должно быть, никто не притронулся.

Пожилая высокая костистая женщина, к подолю которой прижались трое ребят, со страхом смотрела из-за косяка на улицу: оттуда непрерывно неслись грохот и лязг, вой моторов и звуки чужой, непонятной речи.

— Детушки вы мои, что же с нами будет-то, что ж будет-то? Как же мы теперь?..— твердила женщина, глядя на улицу.

Еще не отдавая себе отчета в том, что же, собственно, случилось, Сара Марковна поняла: произошло что-то ужасное, и жалобно вскрикнула.

Женщина посмотрела на нее теми же сухими скорбными глазами, какими смотрели и беженцы.

— Ай очнулась? Эх, милая, лучше бы тебе...— Женщина не договорила и опять уставилась в окно, откуда волнами, то напрягаясь до того, что дрожали стены и звенели стекла, то удаляясь и утихая, выплескивался напряженный вой и лязг.

Сара Марковна сбросила лоскутное одеяло, которым ее укрыли, вскочила на ноги, но зашаталась и оперлась о стену.

— Я пойду, мне нельзя здесь... я пойду,— сказала она.

Хозяйка посмотрела на нее суровыми, жесткими глазами и только махнула рукой:

— «Пойду»... Куда тебе! Лежи... Чему быть, того не миновать.

Мгновенно в памяти Сары Марковны всплыли страшные рассказы беженцев о диких расправах гитлеровцев над евреями. О том, как в маленьком городке Себеже евреев созвали в местную синагогу якобы на регистрацию, приперли двери синагоги бревнами и зажгли старое деревянное здание. О том, как в городе Невеле семьи евреев загнали на узкую песчаную косу, глубоко вдававшуюся в озеро, и по косе той пустили танки, и как в тот день вода в озере, всегда славившаяся своей прозрачностью, стала бурой.

Нет, она не имеет права навлекать беду на эту случайно приютившую ее семью, не может, не должна здесь оставаться.

— Я пойду. Пустите, я пойду,— настойчиво твердила она, вставая.— Мне смерть не страшна, я свое прожила, я своих вырастила, а у вас вон трое, я не хочу, чтобы из-за меня гибли другие...

— ...И вы знаете, что она мне на это сказала, эта колхозница, Екатерина Федоровна Евстигнеева? — рассказывала старушка председателю райсовета, вытирая концом шали слезы, скатывавшиеся по ее морщинистым щекам.— Я прошу вас записать к себе в книжечку ее фамилию: «Екатерина Федоровна Евстигнеева из колхоза «Буденный». Нет, вы только послушайте, что она мне на это сказала. Она сказала, что я старая дура, да, да, да, старая дура, ни больше ни меньше, что я выжила из ума, если думаю, что она живого человека на растерзание зверюгам выбросит, чтобы самой шкуру спасти... Она сказала, что плохо, должно быть, меня Советская власть воспитала, если я смею о ней так думать. И велела лежать и молчать и не соваться со своими глупостями. Вот она что сказала, Екатерина Федоровна! А ведь у нее не было мужа, и было трое детей, и фашисты были не где-нибудь в Германии: они ехали на танках по улице за окном, и мы с ней слышали, как они хохочут у колодца, где они поили проклятые машины. Но это — еще не все. Вы голова района, вы должны знать своих людей, и вы имейте терпение, послушайте до конца, что было дальше.

...По настоянию хозяйки дома, куда случайно занесли ее беженцы, Сара Марковна осталась в колхозе «Буденный», который приказом фельдкоменданта, в чьем ведении находились села, лежавшие при трактах, был объявлен распущенным...

Хозяйка дала ей старое крестьянское платье, уложила ее на печке, а потом, посоветовавшись с соседками, придумала такую хитрость: немецким солдатам из комендатуры, которые наезжали рыскать по хатам и по крестьянским сундукам, разъяснялось, что на печке лежит больная сыпным тифом. Мнительные немцы, боявшиеся заразы, не только оставили старушку в покое, но и вообще стали обходить избу Евстигнеевой.

Так прожила Сара Марковна до зимы, не выходя из избы. Когда в дни метелей оккупанты, совершенно не заботясь об оставшихся в домах детях, выгоняли все население на расчистку дорог, колхозницы сносили в хату Евстигнеевой своих малышей, а Сара Марковна нянчила их до возвращения родителей.

Женщины понемногу привыкли, даже привязались к ней и вместе с детьми, чтобы не упоминать ее имени, точно по уговору, стали называть ее «мамаша».

Но вот на воротах пожарного сарая появилось стандартное объявление комендатуры о том, что все евреи должны немедленно пройти регистрацию в ближайшем комендантском пункте. Тем, у кого евреи проживали, а также тем, кто знал, где они живут, приказывалось в суточный срок донести об этом туда же. В случае невыполнения этого приказа тем и другим угрожал расстрел.

Узнав о приказе, Сара Марковна решила идти на регистрацию. Не сказавши на этот раз хозяйке, она оделась, собрала свои вещички, но у порога наткнулась на колхозниц, с лопатами и мотыгами, возвращавшихся с дороги.

— Это куда же? — спросила Екатерина Федоровна, осматривая гостью с ног до головы.

Сара Марковна молча опустила глаза. Тогда кто-то из женщин догадался:

— Неужто на регистрацию? Дак, бабоньки милые, что ж она сама голову в петлю сует? Нешто не знаешь, как они с вашим людом в Торопце-то обошлись?

— Знаю, все знаю! — закричала Сара Марковна. — Пустите меня, я не хочу, чтобы из-за меня пропадали добрые люди.



— ...И вы знаете, что они мне ответили, эти женщины? — спросила старушка, вставая с кресла и взволнованно глядя в усталые глаза председателя, в которых теплились теперь веселые искорки.— Они сказали мне, что я сумасшедшая, они сказали мне, что я хочу осрамить их колхоз, они сказали, что ежели они со страху дадут этим живодерам надо мной надругаться, им нельзя будет в глаза глядеть мужьям, когда те вернутся с войны. И тут подошел к ним еще один крестьянин, они называли его дядя Миша, он тогда в деревне не жил, а был партизаном из отряда Чурилина, о котором даже в Совинформбюро сообщали — отряд товарища Ч. Он подошел, этот дядя Миша, и спросил: «Чего вы, бабы, галдите?» И они ему ответили: «Вот эта сумасшедшая хочет идти в комендатуру, боится нас подвести». И знаете, что им сказал этот самый дядя Миша? Нет, вы не знаете этого, вам даже не догадаться. Вы лучше послушайте меня, что он сказал. Он сказал мне: «Не трепыхайтесь, мамаша, и наплюйте на регистрацию. Либо, сказал, мы вместе перебедем, либо вместе помрем». Вот что он мне сказал тогда, дядя Миша. Вы запишите, пожалуйста, себе в книжечку и его имя. И думаете, что это все, товарищ председатель? Нет, это не все, и уж вы имейте терпение меня дослушать...

Забота о старой женщине стала делом всего этого формально распущенного, а на деле еще больше спаянного общей бедой колхоза.

По-прежнему жила Сара Марковна у Евстигнеевой. И хотя оккупанты повыкачали и пожрали почти все имевшиеся у жителей продовольственные запасы и, наловчившись, понемногу добирались и до тайных ям с припрятанным добром, хотя все уже в деревне жили впроголодь,— женщины считали своим долгом урвать от себя дорогой кусок и отнести общей питомице.

Хату Евстигнеевой, про которую говорили, что там лежит большая тифом, комендантские по-прежнему обходили. Все, казалось, шло хорошо, и Сара Марковна стала было уже верить, что с помощью новых друзей доживет она как-нибудь до счастливых времен, но тут-то и грянула беда.

В деревню приехал автомобиль с красным крестом. Переводчик спросил:

— Где больная тифом?

Растерявшиеся жители не знали, что сказать, и кто-то послал докторов к Евстигнеевой.

Но доктора в избу не пошли. Старый офицер в халате отдал приехавшим с ним санитарам распоряжение, те принялись обливать избу бензином.

Евстигнеева, думая, что это дезинфекция, молча стояла у палисадника со своими детишками. Даже когда один из приезжих зажег пук соломы и бросил его на черные бензиновые потеки, она непонимающе посмотрела на него.

Пламя с ревом ударило по стенам, по драночной крыше, разом покрыв избу рыжей, огненной овчиной. Приезжие сели в машину и укатили. Тогда женщина с криком кинулась в дом, с запылавшей уже юбкой подоспела к печке, на которой пряталась гостья, и через коровник, задами вынесла ее из ревушего костра...

— И вы знаете, что сказала эта женщина, потерявшая из-за меня свой дом и свое имущество, оставшаяся на улице вместе с тремя маленькими детьми? — спросила старушка у председателя. — Она сказала: человек дороже избы. Она сказала: были бы кости, а мясо нарастет. Она сказала: была бы Советская власть, будет и изба. А будет немецкая власть — не надо ей ни избы, ни самой жизни, пропадай все пропадом. Вот что она мне сказала, эта самая колхозница Екатерина Евстигнеева. Прошу вас это запомнить, вы должны знать своих людей.

— Я запомню, — пробасил председатель и, нагнувшись, что-то долго искал в ящичке письменного стола, а когда он выпрямился, лицо его было немножко красным, точно вдруг он заболел насморком...

С того дня, как немцы сожгли хату, Екатерина Евстигнеева поселилась с детьми у сестры, а Сара Марковна, которую все звали «мамашей», кочевала из избы в избу, живя по очереди в каждой семье, как пастух в летнюю пору.

В январе каким-то образом фельдкомендатура пронюхала, что крестьяне скрывают еврейку. Приехали на машинах гестаповцы из самого Нелидова. На въездах в деревню поставили заслоны. Начался повальный обыск. Но пока ходили солдаты по избам, два подростка, Вася и Петя

Чурилыны, дети того самого товарища Чурилыны, который был командиром отряда, вывели Сару Марковну задворками за околицу, отвели в соседнюю деревню и спрятали у своей тетки колхозницы, у которой жили и они, пока отец их партизанил в лесах.

Здесь без особых приключений прожила Сара Марковна до самого того момента, когда однажды послышалась над лесами канонада близкого танкового боя, когда неожиданно в дом колхозницы ввалились потные лыжники в сбитых на затылок ушанках, в заиндевелых и грязных маскхалатах и хриплыми веселыми голосами на чистейшем русском языке попросили напиток...

В этот день Сара Марковна вернулась в колхоз «Буденный», вернулась, как к родным, прожила здесь, присматривая за детишками, до самого освобождения родного города, а тогда с попутной санитарной машиной ее отправили в Торопец.

Провожали ее, как родную, тепло одели, на дорогу напекли картошки и все наказывали «мамаше» не забывать их потом.

— Но разве их можно забыть, товарищ председатель? Разве можно забыть таких людей? Разве все это уйдет из памяти, даже если, не дай бог, проживешь сто лет? Они звали меня «мамашей», и, что вы думаете, я сейчас чувствую, что у меня не только три сына, которые сражаются сейчас на фронте,— пошли бог каждому хорошему человеку таких сыновей! — у меня сейчас много сыновей и дочерей там, в колхозе «Буденный», где меня называли «мамаша». И знаете что? Знаете, зачем я тряслась три дня по этим ужасным деревянным клавишам? — чтоб самому Гитлеру до самой смерти ездить по таким дорогам! — Я вам скажу, зачем я приехала: их надо обязательно наградить. Нет, вы, пожалуйста, не улыбайтесь. Вы думаете, они не заслужили ордена? Что вы на это скажете?

Председатель молчал. На его обветренном, бронзовом от еще не сошедшего партизанского загара лице с белой кожей на тех местах, с каких он сбрил усы и бороду, было несвойственное этому мужественному, грубоватому человеку растроганно-смущенное выражение.

— Заслуживают, мамаша,— сказал он наконец,— очень заслуживают, и не этого они еще заслуживают... Только беда-то вот в чем: ничего особенного они не сделали, нельзя же награждать людей только за то, что они советские люди...

За дощатой стенкой кабинета пронзительно зазвенел телефон. Кто-то взял трубку, и женский голос спросил:

— Вам кого? Председателя? Он занят. У него люди... Ах, из области? — И женский голос сказал громче: — Товарищ Чурилин, возьмите трубочку, вас область спрашивает.

И председатель прервал беседу и поднял трубку телефона.

1942 г.

Мы долго шли по северной окраине Сталинграда, то и дело отвечая тихо возникавшим на нашем пути часовым заветным словечком пароля. Пробирались изрытыми задворками, помятыми садами, карабкались через кирпичные баррикады, пролезали сквозь закоптелые развалины домов, в которых для безопасности передвижения были пробиты в стенах ходы, подвернув полы шинелей, стремглав пробегали улицы и открытые места.

Наконец лейтенант Шохонко зашел под прикрытие стены, перекинул ремень автомата с плеча на плечо и, переведя дух, сказал:

— Ось и дошли. Туточка. От-то у нас в дивизии хлопцы и клычут редут Таракуля.

Он показал бесформенную грудку битого кирпича и балок, возвышавшуюся на месте, где когда-то, судя по ее очертаниям, стоял небольшой приземистый особняк прочной купеческой стройки.

Происходило это в глухой час беспокойной фронтовой ночи, в ту минуту перед рассветом, когда даже тут, в Сталинграде, наставляла тишина и холодный осколок луны серебрил седые облака низко осевшего тумана и выступавшие из него пустые коробки когда-то больших и красивых домов. Все кругом — и подрубленные снарядами телеграфные столбы с бессильно болтающимися кудрями оборванных проводов, и чудом уцелевшая на углу нарзанная будка, вкривь и вкось прошитая пулями, и камни руин — все солонисто сверкало, покрытое крупным седым инеем.

Мостовая была сплошь исковеркана и вспахана разрывами снарядов и мин. Целые россыпи стреляных гильз звенели под ногами то тут, то там. Просторные воронки авиабомб, заиндевевшие по краям, напоминали лунные кратеры. На ветвях израненного тополя чернели клочья чьей-то шинели. Все говорило о том, что место это совсем недавно было ареной долгой и яростной схватки и центром ее был совершенно разрушенный дом.

— Редут Таракуля,— повторил лейтенант Шохенко, которому, видимо, очень нравилось звучное название, и, нагнувшись, показав на прямоугольные отдушины в массивном, хорошо сохранившемся каменном фундаменте, пояснил:— А то амбразуры. Подывиться, якый вэлыкый сэктор обстрила на обыдвѣ вульци. От скризь ных и дэргалы воны наступ цилого нимэцького батальона. Вдох — батальон! Вдово-о-о-х!

В голосе лейтенанта, человека бывалого и, по-видимому, отнюдь не склонного к восторженности, слышалось настоящее восхищение, восхищение мастера и знатока. И мне живо вспомнилась во всех подробностях история этого дома-редута, слышанная мной в те дни в Сталинграде от разных людей,— удивительная история, в которой, как солнце в капле воды, отразились величие и трагизм битвы.

Бойцы-пулеметчики Юрко Таракуль и Михаил Начинкин, оба переплывшие со своим пулеметным взводом Волгу уже полтора месяца назад и, стало быть, имевшие право считать себя здешними ветеранами, получили приказ организовать пулеметные точки в этом особнячке, на перекрестках двух окраинных улиц. Особняк несколько выдавался перед нашими позициями и мог послужить хорошим, прочным авангардным дотом.

Центр боя в те дни перекинулся западнее, к Тракторному заводу. Удара здесь не ждали, и сооружение пулеметных точек было лишь одной из мер военной предосторожности.

Получив приказ, Начинкин, спокойный, неторопливый, как и все металлисты по профессии, и маленький, подвижный, постоянно что-нибудь насвистывавший, напевавший, а то и приплясывавший при этом молдаванин Таракуль добрались до дома и обстоятельно его осмотрели. Им, давно оторванным от мирной жизни, позабывшим запах жилья, было радостно-грустно ходить по пустым, хорошо обставленным комнатам, слушая далеко отдававшееся эхо своих шагов, рассматривая уже забывавшиеся предметы мирного быта, по которым в свободную минуту

всегда так тоскуется на войне. И хотя дом этот, очутившийся на передовой, был обречен на пожар или разрушение, они почему-то аккуратно вытерли о половичок ноги перед тем, как войти в квартиру, и двигались осторожно, точно боясь запачкать полы, покрытые мохнатыми коврами пыли.

Для пулеметных гнезд они облюбовали угловые комнаты: отсюда из окон можно было легко следить за всем, что происходило на скрецивающихся улицах, ведущих к неприятельским позициям. Крайняя комната была когда-то столовой. Они вытащили из нее обеденный стол, диван, стулья, осторожно отодвинули в сторону звенящий посудой тяжелый буфет и принялись разбирать печь, чтобы кирпичом ее заложить окна и сделать в них амбразуры. Дело это было для них не новое, и работа спорилась.

Силач Начинкин, работавший до войны токарем на Минском машиностроительном заводе, старался не очень следить на паркетных полах и потому ходил на цыпочках, выламывая и огромными охалками поднося кирпич. Его напарник, насвистывая песенку, ловко укладывал в окне кирпичи «елочкой», чтобы прочнее держались.

Бой гремел поодаль. Хрустальная люстра, отзываясь на каждый выстрел, мелодично звенела подвесками. Звенела от глухих выстрелов посуда в буфете, да дверь слегка открывалась и закрывалась, когда где-то над передовой бомбардировщики опорожняли свои кассеты. Но все это нисколько не беспокоило бойцов, как не беспокоит горожанина лязг и скрежет трамвая под его окном, а сельского жителя — мычание коровы или стрекотание кузнечиков в траве его усадьбы.

Они делали свое дело, лишь изредка, по военной привычке, высываясь из окон и осматриваясь. Мало разрушенные улицы были совершенно пустынные и точно вымерли.

Первая амбразура была уже готова. Установив в ней пулемет и подтащив ящики с патронами, солдаты принялись за вторую, в соседней комнате. Но, притащив очередную охалку кирпича, Начинкин вдруг увидел, что Таракуль не работает, а прильнул к пулеметному прицелу и, весь напрягшись, смотрит через него на улицу. «Немцы!» — догадался Начинкин. Он осторожно положил кирпич на пол и выглянул из-за незавершенной кладки во втором окне.

Пятеро солдат с автоматами, озираясь и прижимаясь к стене, крались вдоль улицы по направлению к особняку. Начинкин схватил было стоявшую в углу винтовку, но Таракуль вырвал ее у него из рук.

— Не спугивай: разведка. За ними еще будут. Подпустим, а потом сразу...— шепотом сказал он и приник к пулемету.

Начинкин, стараясь ступать как можно неслышной и даже сдерживая участвовавшее дыхание, быстро установил свой пулемет в незаконченной амбразуре соседней комнаты и стопкой положил заряженные диски.

Наверное, в любой другой точке гигантского фронта, очутившись в такой обстановке, двое солдат, оторванные от своей части, немедленно отошли бы на свои позиции, тем более что никто не приказывал им защищать этот дом. Но дело было в Сталинграде, в разгар великой битвы, и этим двоим как-то даже в голову не пришло отступить перед опасностью. Они легли у пулеметов, подщелкнули диски и стали наблюдать.

Не дойдя до угла, немцы посовещались, осмотрели перекресток. Один из них тихонько свистнул и махнул рукой. На улице показались автоматчики — человек тридцать. Так же крадучись, они подошли к перекрестку и стали, пластаясь, вдоль стены. Со стороны дома они представляли удобную мишень. Пулеметчики слышали, как шуршит битая штукатурка под ногами врагов, как раздаются чужие, звучащие почему-то зловеще слова непонятной речи. Вот немцы снова выслали вперед разведчиков.

Две резкие очереди распорили воздух. Потом еще две. Несколько немцев упало, остальные побежали, не понимая, откуда стреляют. Отбежав, они остановились и тут точно растаяли в развалинах.

— Есть! — победно крикнул Таракуль, сверкая желтыми белками горячих цыганских глаз.

В припадке радости он даже вскочил и отбил по паркету лихую чечетку. Начинкин только покачал головой и молча показал ему на остов большого каменного дома напротив, отлично видневшийся сквозь амбразуру. Нетрудно было различить в темных провалах окон осторожно суетившиеся фигуры. Вскоре, одновременно с двух улиц, к перекрестку мелкими перебежками, прижимаясь к подворотням, к воронкам, скрываясь за телеграфными столбами, хлынули чужие солдаты. Они подошли к дому сразу с двух сторон.

Таракуль оторопел. Их было много, и, что особенно ему показалось тогда жутким, они были не только перед ним, как он привык их видеть тут, в боях в городе. Они были с боков, заходили сзади. Первое, что захотелось сделать бойцу, — это бежать, бежать скорее, бежать к своим; пока еще не поздно, вырваться из этого суживающегося полукольца,

спастись и спасти свое оружие. Но он увидел, что его напарник деловито переносит пулемет в соседнюю комнату, и понял, что тот хочет прикрыть фланг. Спокойный поступок товарища сразу привел его в себя.

Преодолевая охвативший его инстинктивный страх, Таракуль припал к пулеметному прицелу и стал короткими очередями выбивать перебежавших по улице немцев. Те, что засели напротив, открыли стрельбу. Но за кирпичной кладкой Таракуль чувствовал себя неуязвимым. И оттого, что автоматные пули, поднимая известковые облачка и рикошета со злым визгом, не приносили ему вреда, страх его прошел и, как это бывает в острые моменты на фронте, сменился чувством уверенности, даже спокойной радости, когда немцы — много немцев там, на улице, — побежали назад, перепрыгивая через убитых, не обращая внимания на раненых; побежали, подгоняемые паникой, преследуемые огнем его пулемета. Теперь Таракуль уже хладнокровно бил им вслед. И всякий раз, когда серая фигурка, словно споткнувшись, падала на землю, он выкрикивал:

— Есть!

А в соседней комнате работал — именно работал — пулемет Начинкина. Бывший токарь, верный своему непоколебимому хладнокровию, умел даже в острое боевое дело вносить элемент расчета. Он стрелял очень экономно, очередями патронов по пять, и то только тогда, когда в прицеле мельтешило несколько фигурок. Он первым отбил атаку на своей улице. С винтовкой пришел он на помощь товарищу и, устроившись у его амбразуры, так же тщательно прицеливаясь, начал бить по тем, кто сидел в доме напротив. Оттуда отвечали залпами из автоматов. Они били по верху незаложеного окна. Комната наполнилась визгом пуль и известковой пылью. Пулеметчики прилегли на пол. Потом стрельба стихла.

— Ну, действуй тут, — сказал Начинкин и пополз к своему пулемету.

Когда атака была отбита и настала тишина, Таракуль в свою очередь навестил приятеля. Теперь он осознал свою силу и от избытка этой силы, желая чем-то выразить радость, распиравшую его грудь, звонко хлопнул Начинкина по спине. Тот сердито отбросил его руку. Он свертывал сигарку, и Таракуль заметил, что человек этот, который еще недавно подбодрил его своей деловитостью, хладнокровием, сейчас бледен, и пальцы у него дрожат, табак сыплется на колени.

— Видал! Видал, как они!.. Как мы их!

— Чего ты радуешься? Думаешь, они бежали — и все?.. Еще придут... — И вдруг спросил: — А ты женатый? Дети есть?

— Холостой,— отвечал Таракуль, не расслышав даже как следует вопроса.— Как они драпанули!

— А я женатый... четверо у меня ребятишек-то... Ну, чего здесь сидишь? Давай, давай к пулемету!

И они снова расползлись по комнатам, каждый к своей амбразуре.

Слова Начинкина сбылись. Действительно, бой только начинался. Через час неприятель предпринял еще одну вылазку, потом две короткие, напористые — одну за другой. Пулеметчики вылазки отбили. Они действовали все сноровистее, и мысль продержаться вдвоем до того, пока на завязавшуюся перестрелку подоспеют подкрепления, не покидала их. Позиция у них была удобная, с положением своим они освоились, если вообще человек может освоиться с таким положением. Все больше и больше серых фигур, похожих на брошенные кем-то узлы старой одежды, оставались лежать в нейтральной полосе, на пустынной мостовой, поросшей травкой, прибитой утренниками.

Тогда немцы подтянули минометы. Из сада напротив они стали бить по дому, и били минут двадцать. С десятков мелких мин разорвалось в верхнем этаже. Все в доме было разрушено, переверочено, расщеплено, перемешано с обломками штукатурки. Но когда немцы снова бросились в атаку, опять четко заработали два пулемета, и две смертоносные завесы преградили им путь. Пулеметчики переждали обстрел в узенькой ванной комнате и, как только разрывы смолкли, через развалины подползли к своим амбразурам.

Трудно сказать, что думал о них неприятель. Померещилось ли ему, что они имеют дело с целым гарнизоном, или что наткнулись на замаскированный дот, или просто упорство этих людей сломило его наступательный дух,— трудно сказать. Но он отказался от попыток прорваться к дому атакой. Подвезли три орудия и стали обстреливать дом прямой наводкой.

После каждого выстрела Таракуль кричал приятелю в соседнюю комнату:

— Я жив, а ты?

И тот спокойно и брюзгливо, словно отмахиваясь от комара, отвечал:

— А мне что делается!

Но после одного, особенно гулко разрыва, встряхнувшего весь дом и наполнившего его душным облаком известковой пыли, Начинкин не ответил товарищу. Таракуль бросился к нему. Среди обломков мебели, штукатурки, кирпича, разбросав раненые ноги, лежал грузный пулемет-

чик. Он пытался подняться, но не мог и все падал назад, широко раскрыв рот, точно давясь воздухом.

— Ранен,— сквозь зубы процедил он.

«Что же делать?» — пронеслось в мозгу Таракуля. Выходит, он остался один. Бежать? А тот, раненый? А пулеметы? Да и как убежишь с таким верзилой на плечах?! Мозг работал быстро, точно, как всегда в такие минуты. В следующее мгновение Таракуль уже волочил друга вниз, в подвал, куда они еще вначале снесли ящики с патронами, как выразился хозяйственный Начинкин,— «на всякий случай». Сюда же перетащил Таракуль пулеметы, диски. Он установил их в том же порядке, как и наверху, высунув стволы в прямоугольники отдушин.

Сектор обстрела у них теперь стал меньше, но зато массивные своды старинного купеческого подвала надежно прикрывали их. Когда все было сделано, Таракуль почувствовал страшную усталость. Он лег на пол и некоторое время лежал неподвижно, прижимаясь разгоряченным лбом к холодному камню.

В это время раздались глухие взрывы, от которых все здание подпрыгнуло, и страшный треск над головой. Это рванула серия авиабомб. Немцами были вызваны на помощь пикировщики, и взрывная волна обрушила дом.

Груды кирпичца, щебня завалили подполье, но массивные своды подвала выдержали.

Таракуль и его раненый товарищ остались живы, оглушенные, контуженные, погребенные под обломками, отрезанные от мира. Придя в себя, Таракуль осмотрелся и обошел подвал.

— Могила,— сказал он глухо, обращаясь к товарищу, с закрытыми глазами лежавшему у стенки.

Начинкин открыл глаза.

— Дот,— просто ответил он, посмотрел на одну амбразуру, на другую и добавил: — Да еще какой дот-то, только вот гарнизон маловат.

При всей безвыходности положения, в котором они очутились, у них теперь было одно преимущество: они могли не опасаться нападения с тыла. Груда развалин надежно закрывала их от снарядов. Разве только прямое попадание авиабомбы грозило им. А кто из бывалых солдат боится прямого попадания!

Юрка Таракуля обуряла жажда деятельности. Он получше установил пулеметы в амбразурах, поставил под них ящики, чтобы можно было сидеть. Ящик с патронами волоком подтащил к раненому товарищу,



который вынужден был заряжать диски. Сам же Таракуль, бегая от одной амбразуры к другой, следил за тем, что делается на улице.

Должно быть, сильно поразили они немцев своим упорством. Еще долго после того, как дом был разбит авиацией, не решались они к нему приблизиться. Когда же наконец снова поднялись в атаку, их встретил огонь все тех же пулеметов, упрямо бивших теперь откуда-то из-под развалин...

Стреляли Таракуль и его раненый товарищ. Но раненый, хотя и слыл в роте человеком железным, быстро слабел и, лишаясь сознания, бес- сильно падал у амбразуры. Тогда Таракуль бегал от одного пулемета к другому и простреливал обе улицы. В сыром подвале ему стало жарко. Он сбросил шинель, потом гимнастерку, потом рубашку и, по пояс голый, с черным от пороховой гари и пыли, изможденным лицом, на котором по- негритянски сверкали глаза и зубы, с мокрыми кудрями, свалывшимися в комья, отстреливался бешено и самозабвенно, пока Начинкин приходил в себя и, карабкаясь по стене, поднимался к пулемету.

Два дня мерились так силами два советских бойца, похороненные под развалинами, и целая немецкая часть, снова и снова пытавшаяся наступать на бесформенную грудку кирпича и штукатурки, превращенную солдатской волей в крепостной бастион. Овладение этими развалинами стало для немцев делом престижа.

Все труднее и труднее было гарнизону дома. Уже больше суток прошло с тех пор, как был по-братски разделен последний сухарь, отыскавшийся в вещевом мешке запасливого Начинкина. Не было воды. По ночам они слизывали языком иней, оседавший на камнях подвала. Давно была докурена последняя щепотка табаку, вытряхнутая из уголков карманов. И, что всего хуже, на исходе были патроны.

— Вызовут танки, вот тогда плохо будет,— сказал Начинкин, когда они, вскрыв цинку с патронами, снова набивали опустевшие диски.

Начинкин был совсем слаб, и тугая пружина дискового механизма все время выскальзывала из его рук.

— Что ж, пропадать — так с музыкой! — ответил Таракуль, сверкая желтыми белками.

Он тоже слабел от голода и недосыпания, но еще держался и только иногда, чтобы экономить энергию в слабевшем теле, на целые часы замирал, точно каменел, у амбразур так, что в эти минуты казалось: живут у него только глаза и уши.

— У тебя в голове все музыка. Не с музыкой, а с толком. Что без

толку-то шуметь, кому она нужна, такая музыка! Жизнь-то человеку, чай, одна отпущена!

Начинкин не переставал трудиться над зарядкой дисков. Иногда, в горячую минуту, он даже ухитрялся с помощью друга подниматься к пулемету, садиться на ящик и стрелять. Но мысль о смерти все чаще и чаще приходила ему на ум. И ему хотелось сказать товарищу, этому молодому молдавскому виноградарю, с которым судьба свела его, что-то такое большое, значительное, мудрое, что созревает в такие часы в его душе и что никак, ну никак не хотело укладываться в слова.

— Человек не должен умереть, пока он не сделал все, понимаешь? Все, что мог... Все,— сказал он наконец, мучаясь нехваткой слов и опасаясь, что друг не поймет его.

Он заставил Юрка затвердить адрес его семьи и фамилию доброго знакомого, директора того завода, на котором он работал перед войной. Он взял с бойца слово, что, ежели тот выживет и вернется с войны, обязательно разыщет его семью и расскажет жене об этих вот часах, что найдет он и директора и поведаст ему о том, как погиб в Сталинграде минский токарь.

С этим директором у Начинкина были какие-то сложные отношения. Они были когда-то чуть ли не друзьями, но в первые дни войны, когда завод эвакуировался на восток, токарь отказался ехать с заводом. Он заявил, что останется и будет защищать город. Вот тут-то директор и сказал ему что-то такое обидное, чего Начинкин никак не мог простить. Повесть очевидца о том, как сражался солдат Начинкин, должна была посрамить директора и опровергнуть его обидные слова.

Но — как истые бойцы — о смерти они между собой не говорили, даже слова этого избегали, и все больше гадали о том, когда и откуда ждать им выручки.

А в выручку они верили, несмотря ни на что.

И действительно, теперь, когда из-за нехватки патронов слабели во время атак голоса их пулеметов, сзади дружно бухали минометы, и черный густой забор частых разрывов вырастал перед домом, преграждая врагу путь к нему.

Голодные, изнывающие от жажды, совершенно измотанные бессонницей, они слушали этот близкий и грубый гром, как голос друзей, обещавший поддержку. Он, этот грохот, точно связывал их со своими, от которых бойцов отделяла гора навалившегося щебня и десятки метров смертоносного пространства ничейной земли.

На третью ночь, под самое утро, случилось диковинное. Таракулю, дремавшему с открытыми глазами у амбразуры, послышался вдруг странный человеческий голос. Подумав, что бредит, он приложил лоб к холодному, заиндевавшему камню, слизнул иней, отдававший плесенью. Нет, это не обман слуха: голос действительно звучал. Юрко взглянул на товарища. Начинкин спал, держа в одной руке диск, в другой — горстку патронов.

Нет, говорил не он. Картонный, какой-то нечеловеческий голос упрямо долдонил знакомые русские и вместе с тем малопонятные чужие слова: что-то о хлебе, мясе, масле. Таракулю стало страшно. Он растолкал спящего товарища. Начинкин прислушался. Тень улыбки коснулась его почерневших, запавших губ.

— Фрицы! Это они нам кричат, нас с тобой агитируют.

— Стафайтесь... Фам путет карошо опраченье... Фам путет отшень карошо кушайт! — выкрикивал картонный голос из предрассветной тьмы.

— Куском хлеба купить хотят! И где? В этом городе... Дубье! — тихо сказал Начинкин. — Гляди, что фашизм с человеком сделал. Выше своего брюха уже и подняться не может. А ведь людьми были, дизель изобрели.

Когда отхлынул страх непонятого, Таракуль почувствовал прилив неудержимого бешенства. Он прилег к пулемету и пустил на голос длиннейшую очередь. Он стрелял, пока не выскочил на каменный пол и не прозвенел в наступившей тишине последний патрон.

Вспоминая потом о днях этого невиданного поединка, Юрко Таракуль никак не мог точно сказать, сколько времени они обороняли дом. О последнем дне он вообще ничего не мог вспомнить, кроме того, что стрелял из обоих пулеметов, не видя перед собой ничего, кроме переkreщивающихся улиц, не думая ни о чем, кроме того, что нужно во что бы то ни стало удержаться. Только эта мысль отчетливо отпечаталась в его затуманенном от голода и усталости сознании.

Они держались до тех пор, пока где-то вдали не услышали сквозь частую стрельбу «ура», которое приближалось и нарастало, пока по обломкам тротуара не застучали тяжелые шаги наступавшей пехоты и в амбразурах отдушин не замелькали родные песочного цвета шинели и неуклюжие милые кирзовые сапоги.

Тогда он бросил пулемет, стал трясти совсем ослабевшего друга; крича ему только одно слово:

— Наши, наши, наши!

Свежий, подтянутый из резерва полк, ночью переправившийся через Волгу, отжал тут немцев, очистил перекресток. Бойцы из взвода лейтенанта Шохенко подбежали к развалинам.

Из амбразур до них донеслись слабые голоса товарищей. Но пришлось вызвать саперов, долго разгребать и даже подрывать камни, чтобы извлечь Начинкина и Таракуля. Кто-то, кажется саперный начальник, руководивший этими раскопками, шутя назвал развалины особняка редутом Таракуля. С легкой руки название это так и прижилось, попало в печать, было перенесено на военные планы...

...И вот наконец собственными глазами удало́сь мне осмотреть это необыкновенное место. Мы засветили фонарики и сквозь пробитую саперами брешь спустились в подвал. Синеватый свет луны сверкающими косыми брусками просачивался в амбразуры и белыми пятнами расплывался по полу среди густой россыпи стреляных, уже позеленевших гильз. В углу валялись окровавленные бинты. Тут, должно быть, лежал Михаил Начинкин. Сквозь амбразуры отчетливо виднелись на аспидно-черном фоне неба посеребренные инеем обломки стен, напоминавшие театральные декорации. Над ними остро и холодно сверкали звезды, тяжело и низко покачивалось над землей зарево пожара.

Когда глаз привык к полутьме подвала, можно было различить надпись, сделанную на серой, покрытой крупитчатым инеем стене. Лейтенант осветил ее фонариком. «Здесь стояли насмерть гвардейцы Таракуль Юрко и Начинкин Михаил. Выстояв, они победили смерть»,— прочел я.

— Цэ наш комиссар напысав,— сказал лейтенант; он прочел вслух: — «Выстояв, они победили смерть».

— Страшно, наверное, было в такую вот ночь перед лицом врага совершенно одним?

— Страшно? Нэ тэ слово. Такэ слово тут мы забулы... От одыноко — да,— сказал Шохенко,— одыноко — то погано, дужэ погано на вийни. А що до страху, такого слова в цим мисти нэмае.

И мне захотелось для тех, кто много поколений спустя будет изучать эпопею обороны города, где было позабыто слово «страх», как можно подробнее записать историю этого обычного сталинградского дома, записать такой, какой я слышал ее от Таракуля и его боевых друзей.

На вид этой девушке можно дать лет двенадцать. Была она тоненькая и лёгкая. Смуглое лицо не потеряло еще детской припухлости, а глаза, широко распахнутые, большие, ясные, опущенные длинными ресницами, смотрели так весело и удивленно, как будто спрашивали: «Нет, в самом деле, товарищи, кругом действительно так хорошо или мне это кажется?»

И лишь мудреная высокая прическа, в которую были собраны обильные темно-каштановые волосы, как-то портила этот светлый облик, точно фальшивая нота чистую, хорошую песню.

Одета она была в цветастое платье, золотая цепочка обвивала ее высокую загорелую шею, на которой гордо сидела милая юная головка.

Должно быть, сама поняв, что очень уж выделяется среди людей в выгоревших, добела застиранных гимнастерках, среди обветренных лиц, покрытых темным походным загаром, она набросила на плечи чью-то большую шинель и, несмотря на жару тихого и душного августовского вечера, так и сидела в ней на завалинке чистенькой беленой украинской хатки.

Ее глаза с необыкновенной жадностью следили за жизнью обычной штабной, ничем не примечательной деревеньки. С одинаково ласковым вниманием останавливались они и на ржавых, промасленных комбинезонах шоферов, рывшихся в тени вишенника в моторе опрокинутого вездеходика; и на военном почтаре в сбитой на ухо пилотке, с пузатой сумкой через плечо, что прошел мимо нее с тем торжественно зна-

чительным видом, с каким ходят только военные почтари, неся большую порцию свежей корреспонденции; и на начальнике разведки, тучном, но туго перетянutom ремнями полковнике, который, заложив руки за спину, скрипя сверкающими сапогами, расхаживал взад и вперед за плетнем садика, весь поглощенный своими думами; и на бойцах штабной охраны, сидевших за хаткой в пыльной мураве и по очереди читавших друг другу только что полученные письма из дому.

— Я, как изголодавшаяся, гляжу, гляжу — и не могу наглядеться. Нет, вам этого чувства не понять. Это понятно только тем, кому придется надолго отрываться от своих, от всего, что привычно, дорого, мило, и с головой окунаться в этот чужой, паучий мир! — сказала она низким грудным голосом.

Выражение детскости, только что освещавшее ее лицо, сразу точно ветром сдуло, и мне показалось, что она гадливо передернула плечами, прикрытыми грубой шинелью.

Как-то не верилось, что эта девушка, такая юная и беспечная с виду, имела самую опасную и ответственную из всех воинских профессий, что это та самая безыменная героиня, которая, живя за линией фронта, ежеминутно рискуя жизнью, снабжала наш штаб сведениями, помогавшими командованию своевременно разгадывать намерения противника. Разведчики — народ замкнутый, несловоохотливый. Но для этой девушки они не жалели похвал.

У нее было условное имя: Береза. Я не знаю, как оно появилось, но трудно было подобрать лучшее. Она действительно походила на молодую белую стройную гибкую березку — из тех, что трепещут всеми листочками при малейшем порыве ветра. И ничто в ее облике не выдавало хладнокровного мужества, воли, уверенной, расчетливой хитрости, этих необходимых качеств человека ее профессии. Вероятно, это и обеспечивало неизменный успех, сопутствовавший Березе при выполнении ею самых сложных заданий.

Взяв с меня слово, что я никогда не назову ее настоящего имени, полковник, начальник разведки, рассказал мне ее военную биографию.

Единственная дочь крупного ученого, она выросла в патриархальной семье, получила отличное воспитание, училась музыке, пению, с детства одинаково чисто говорила на украинском, русском, французском и немецком языках. Когда разразилась война, она уже заканчивала университет. Увлекалась филологией, западной литературой времен Ренессанса и даже опубликовала под псевдонимом в одном из академических

изданий работу о драматургии Расина — работу полемическую, интересную, обратившую на себя внимание в научных кругах.

Вопреки воле родителей, в начале войны она отложила подготовку к государственным экзаменам и пошла на курсы медицинских сестер. Она решила ехать на фронт. Но кончить курсы не удалось: враг подошел к ее городу, а окраины его стали фронтом. Некоторое время она вместе с подругами по курсам выносила раненых с поля боя, работала в эвакуприемнике. Враг окружал город. Был дан приказ об эвакуации. Родители настаивали, чтобы она обязательно ехала с ними.

— Есть старая истина: кому много дано, с того много и спрашивается,— убеждал ее отец.— Собирать раненых может каждая девушка, а на твоё обучение государство затратило огромные деньги. Ты знаешь языки, как знают немногие. Ты обязана принести государству гораздо большую пользу там, в тылу.

Девушка знала, что отец хитрит. Он не мог так думать. Но ей не хотелось на прощанье обижать стариков, и она мягко сказала:

— Папа, я слышала, что сейчас даже каркас Дома Советов переплавляют на снаряды и танковую броню. Мы должны победить любой ценой. Сейчас не до мелочной расчетливости.

В эвакуацию она не поехала. Но слова отца заставили ее задуматься. Да, она знает языки и наверное может принести родине на войне ббольшую пользу, чем ухаживать за ранеными. С этой мыслью она пошла в районный комитет партии.

Это были последние часы перед эвакуацией города. Усталые, до смерти измученные, подавленные горем люди жгли в печах бумаги. Входили и выходили вооруженные дружинники из рабочих батальонов. Серdito звонили телефоны. Было не до нее. Никто не хотел слушать эту тоненькую, красивую, хорошо одетую девушку. Но тут у нее, обычно робкой и деликатной среди чужих, впервые проявился ее характер. Кого-то обманув, от кого-то отшутившись, кого-то попросту оттолкнув с дороги, она пробилась в кабинет секретаря райкома, назвала свою довольно известную в городе фамилию и заявила, что отлично знает языки и просит дать ей какое-нибудь военное задание.

— Что, что? Вы дочь профессора Н.? Почему не уехали? — сказал секретарь райкома, с трудом отрываясь от тяжелых эвакуационных забот, и внимательно просмотрел ее документы.

Вдруг, что-то вспомнив, он спросил ее:

— Вы знаете немецкий?

— Как свой украинский.

Секретарь райкома еще раз с сомнением осмотрел тоненькую юную фигуру, ее лицо, в котором было так много детского.

— Задание может быть очень сложным и, прямо скажу, опасным.

— Я согласна.

Он попросил всех выйти, взял трубку полевого телефона, стоявшего у него на столе, назвал какой-то номер.

— Вы слушаете? Это я, у меня нашлась подходящая кандидатура,— обратился он к кому-то.— Да, немецкий, отлично. Вполне подходит, я знаю ее родителей. Замечательные, преданные люди. Сейчас ее к вам пришлю. Предупреждал и предупрежу еще.— Он положил трубку и опять, теперь уже с ласковым вниманием, посмотрел ей прямо в глаза: — Хорошо, свяжу вас с одним товарищем, который остался здесь для подпольной работы. Но вы, наверное, не представляете, что вас ждет. Вам все время придется рисковать жизнью.

— Я прошу вас, не теряйте попусту времени, я вам уже ответила,— сказала девушка.

И вот дочь ученого осталась в городе, оккупированном неприятелем. В немецкую комендатуру донесли, что ее забыли при эвакуации.

Она была не единственной, оставленной в городе для подпольной работы, но именно ей поручили самое сложное, самое опасное задание. Иные должны были следить за оккупантами и предателями, иные получили задание взрывать склады, портить паровозы, иные охотились за фашистскими чиновниками. Береза, по заданию подпольного комитета, должна была изображать кисейную барышню, дочь знаменитых родителей, преклоняющуюся перед Западом и не пожелавшую расстаться во имя каких-то чуждых ей идей с комфортом, бросить все и ехать в неизвестность на восток. В огромной квартире профессора поселился немецкий полковник. Ему сразу приглянулась молодая хозяйка квартиры. По вечерам она играла на рояле Вагнера, читала по-немецки стихи Гёте. Полковник ввел ее в круг своих друзей — штабных офицеров, собиравшихся у него, познакомил с начальником — генералом.

Украинская фрейлейн имела успех. Дочь профессора и, как намекал полковник, потомок каких-то украинских магнатов, она выгодно отличалась от вульгарных, крикливых, жирных нацистских дам их круга. Офицеры всячески старались ей угодить, и никому из них не приходило в голову, куда ходит эта прелестная девушка, «потомок магнатов», дважды в неделю, забрав с собой пестрый зонтик, личную сумку

и книжку фюрера «Майн кампф», подаренную ей полковником с его собственноручной надписью.

А она шла в окраинную слободку, расположенную за рекой, входила в квартиру сапожника, помещавшуюся в беленой хатке, вынимала из сумки изящные туфельки со стоптанными каблуками, ставила их на верстак, заваленный сапожным хламом, и, убедившись, что никого нет, выплакивалась на груди бородатого старика «сапожника» слезами гнева, злости и омерзения. Тут, в чистенькой хатке, стоявшей на огородах, ее нервы, все время находившиеся в предельном напряжении, не выдерживали. Кокетливая глупенькая барышня, изящная безделушка, умевшая беззаботно развлекать грубых, самодовольных солдафонов, становилась собой — советской девушкой, искренней, честной, тоскующей и ненавидящей.

— Как мне тошно! Если бы вы знали, дядько Левко, как мне омерзительно жить среди них, слышать их хвастовство, улыбаться тем, кому хочется перегрызть горло, жать руку тому, кого следует расстрелять, — нет, не расстрелять, повесить!

«Сапожник», старый большевик, работавший в подполье еще в гражданскую войну, успокаивал ее как мог. Потом в задней камерке они составляли донесение обо всем, что она видела и слышала. Пили «чай» из липового цвета с сахарином, ели холодец, соленые помидоры, простоквашу. В родной обстановке немножко отходила истосковавшаяся душа. А потом изящная девушка с пестрым зонтиком вновь поднималась в город, беззаботно напевая немецкую песенку «Лили Марлен», сопровождаемая ненавидящими взглядами голодных жителей. Эти ненавидящие взгляды, необходимость молча сносить оскорбления, всегда молчать, не смея даже намеком открыть всем этим людям, кто она, почему она здесь, за что она борется, было самым тяжелым в ее профессии.

У нее были крепкие нервы. Она отлично играла роль и приносила большую пользу. Но в конце концов нервы стали шалить. Все труднее становилось маневрировать, скрывать истинные чувства. На явках она умоляла «сапожника» отозвать ее, дать ей отдохнуть, поручить ей любое другое задание. Как об отдыхе, она мечтала о налетах на вражеские транспорты, о поджогах, взрывах железнодорожных составов, о борьбе с оружием в руках, какую вели иные подпольщики. Но в эти дни в городе обосновался штаб военной группы. Ее глаза и уши стали даже нужнее, чем прежде, и «сапожник» направлял ее обратно.

Наконец штаб выехал. «Сапожник» сказал, что еще денек-два —

и она сможет исчезнуть. Но тут пришла беда. Ее квартирант, полковник, был произведен в генералы. Напившись по этому поводу, он вломился к ней ночью в комнату с бутылкой шампанского. Она вlepила ему пощечину. Он только расхохотался, поцеловал ей руку и подставил другую щеку. Нет, эти чудесные маленькие ручки не могут оскорбить немецкого генерала! Да, да, он покорил шесть стран, он воюет теперь в седьмой! И она — его лучший приз за годы войны! Он предлагал ей руку и сердце.

Девушка пришла в ужас, ее трясло от омерзения. Генерал ползал за ней на коленях, хватал ее за платье. Она попыталась убежать от него в другую комнату. Он вломился и туда. Он хрипел, что Советская власть агонизирует, что бои идут в Москве, что всем им здесь, на плодородной Украине, дадут богатые поместья, и она будет его женой, — хо-хо, женой немецкого помещика! И все крестьяне, которые мнили себя господами жизни и что-то там такое болтали о социализме, будут их холопами, рабочим скотом на их земле. Пьяный фашист оскорбил ее народ — и девушка не выдержала, воля изменила ей: она выхватила у него из ножен кортик с фашистским орлом, распластанным на эфесе, и по самую рукоятку вогнала его в горло новоиспеченного генерала.

Вся городская военная и штатская полиция, вся жандармерия и приехавшие в город специальные войска СС в течение месяца искали ее, перерыли каждую улицу, каждый дом, устраивали налеты, облавы. Но девушка скрылась: она благополучно перешла фронт.

Очутившись среди своих, она стала настойчиво и упорно учиться всему тому, что могло ей помочь в ее сложной и опасной работе для родины.

След дочери профессора, убившей немецкого генерала, затерялся в большом украинском городе. А через некоторое время военный комендант Харькова взял в переводчицы красивую девушку Эрну Вейнер. Судьба фрейлейн Вейнер вызвала живое сочувствие коменданта, последнего потомка зачахшей ветви прибалтийских баронов, у которого, помимо общешашистских поводов, были и свои личные мотивы ненавидеть советский народ. Эрна Вейнер рассказала шефу, что она дочь немецкого колониста, жившего на Одессине. Отец ее владел садами, виноградниками, бахчами, держал летом сотни батраков, скупал через контору хлеб, имел мельницу. Но все это было у него безжалостно отобрано большевиками. После этого он влачил жалкое существование, но все же кое-что удалось ему спрятать, и на эти средства он дал детям образование.

Потом он был арестован за симпатии к новой Германии, которые он, как человек прямой, не умел и не хотел скрывать...

Фрейлейн Эрна, потерпевшая от большевиков, скоро стала главной переводчицей в комендатуре, а затем ее перевели к самому начальнику гарнизона.

Новый шеф, бригаденфюрер войск СС, тоже сочувствовал бедной фрейлейн. Безукоризненный немецкий язык, умение петь старые баварские песенки, особенно нравившиеся сентиментальным палачам, игра на рояле стяжали ей уйму поклонников. «Да, старый Иоганн Вейнер даже в этой непонятной стране сумел дать детям великолепное образование!» — удивлялись они. И когда немцы обнаруживали вдруг пропажу важных документов или им становилось ясно, что советское командование знает слишком много об их тайных намерениях, даже тень подозрения не ложилась на Эрну Вейнер.

Но какой ценой девушка вырывала для родины эти фашистские тайны! Она присутствовала теперь на самых секретных допросах. При ней палачи терзали осужденных на смерть советских людей, и она должна была переводить их предсмертные вопли, их проклятия, слушать от них оскорбления. Только любовь к родине — любовь всеобъемлющая, безмерная — давала ей силы для этой работы. Но лишь связанной — суровый воин, безвыходно сидевший с рацией в подвале разрушенного дома, человек, совершенно разбитый ревматизмом, — кому она приносила сведения, слышал от нее жалобы. Бледный, как месяц в холодную ночь, еле передвигающийся, около года просидевший без солнца и воздуха, человек этот утешал ее как мог неуклюжим, грубоватым солдатским словом и сам служил ей примером преданности великому делу. Его спокойное мужество поддерживало девушку.

И вот за несколько недель до взятия Харькова Березу ждало последнее, самое тяжелое испытание. О нем она рассказывала сама, сидя на завалинке хатки в погожий августовский вечер:

— Вы знаете, конечно, как они нервничали, когда войска Конева, прорвавшись у Белгорода, подходили к Харькову с востока. Боже, что там было! Муравейник, в который сунули головешку! Солдаты ничего — это, в сущности, храбрые и не такие уж плохие люди. Но посмотрели бы вы на их заправил! Они, забыв о соблюдении внешних приличий, упаковывали картины, музейные вещи, редкости, мебель — все, что они награбили и натащили. Все это посылалось в тыл на глазах у солдат. А слухи! Это был не штаб, а базар какой-то, на котором передавались

слухи, один невероятнее другого. Особенно много ходило легенд о советской авиации. Говорили, что с Дальнего Востока перелетели какие-то новые огромные авиационные части. Десятки тысяч машин невиданных марок! Какое-то чудовищное вооружение. Все офицеры бегали ночевать в подвалы. Даже мне было удивительно, какими в трудную минуту они оказались малодушными, трусливыми, мелкими. И я ликовала. Утром, приходя на работу, я говорила шефу плаксивым голосом:

«Господин начальник, неужели все погибло? Ведь они меня убьют!..» Я видела, как он бледнел. Но он еще петушился:

«Что вы, фрейлейн, в Германии столько сил! Может быть, даже слишком много! Болезнь полнокровия».

Кончал же он тем, что принимался меня уверять, что при всех условиях я успею удрать в его автомобиле.

И вот однажды ночью меня будят, вызывают к нему в кабинет. Он взволнован, сияет. Поясняет: будет важный допрос, от которого зависит его карьера. Ах, если бы вы знали, как все они там думают о своей карьере! У меня похолодело сердце: кого поймали? Я знала, что харьковские подпольщики, все время державшие немцев в постоянном страхе и напряжении, особенно активизировались, и боялась, что попался кто-нибудь из них. Шеф носился из угла в угол. В кабинете шла необычная подготовка, стол накрывался скатертью, расставляли на нем вино, фрукты, сласти. Мне становилось все тоскливее. Кто же, кто? Что значат такие необычные приготовления?

«Приехал какой-нибудь господин из армии?» — спросила я как можно небрежнее, усаживаясь в углу, где я всегда сидела во время допросов.

«А, чепуха, стал бы я тратить на этих чинодралов из армии! — ответил шеф. — Гораздо важнее, гораздо интереснее! Наши сети принесли богатый улов. Сегодня прекратится проклятая неизвестность. Мы узнаем, какой сюрприз подготовили нам. Ого-го, это может спутать им все карты».

Я решила, что захватили кого-то из наших больших военных. Но, к моему удивлению, за стол сел не шеф, а его помощник, майор. Потом под конвоем в комнату внесли носилки. Их поставили у накрытого стола, солдаты с автоматами стали было у двери, но майор жестом выпроводил их. Того, кто лежал на носилках, мне не было видно. Между тем майор, напялив себе на лицо одну из самых сладких своих улыбок, попросил меня перевести «гостю», что он тоже летчик и рад приветствовать здесь храброго русского коллегу — судя по отличиям, знаменитого русского аса. Когда было нужно, он мог притвориться приветливым, даже про-

стодушным, этот майор, один из самых омерзительных гадин, каких я только там видела. А я-то уж их повидала!

А на носилках лежал молодой, совсем молодой человек, в такой вот, как у вас, выгоревшей гимнастерке, к которой привинчены три ордена Красного Знамени и еще какие-то отличия. У него были авиационные погоны старшего лейтенанта. А его взгляд... простите... минуточку...

Девушка побледнела так, что лицо ее стало блее стены. Она тяжело дышала, кусала губу, точно перебарывая в себе острую физическую боль. Потом встряхнула головой и пояснила:

— Нервы... Ноги у него были в гипсе, голова забинтована, но из этого марлевого тюрбана на меня вопросительно смотрели большие серые, такие правдивые и такие затравленные глаза.

«Фрейлейн, переведите, пожалуйста, коллеге, что безоружный противник — для нас уже не враг, что в новой Германии понятия мужества и воинской чести интернациональны. Переведите, что в качестве, э-э-э, помощника начальника гарнизона и как летчик по профессии я буду рад выпить с ним бокал... э-э-э — нет, это будет не по-русски... чашу доброго вина».

Когда я переводила, серые глаза летчика остановились на моем лице. И столько в них было не ненависти — нет, не ненависти, а какого-то бесконечного презрения, гадливости, что слезы обиды против воли чуть было не выступили у меня на глазах.

«Ничего я ему не скажу. Впрочем, пусть даст папиросу».

Майор засиял, вскочил и протянул ему портсигар. Летчик приподнялся на локте, взял папиросу и жадно закурил. Они оба молчали, я слышала, как потрескивает табак. Потом майор встал, щелкнул каблуками, назвал свое имя и учтиво заявил, что желал бы знать, с кем имеет честь...

«Пусть меня унесут», — ответил летчик и отвернулся.

И сколько майор ни бился с ним, он лежал лицом к стене и молчал. Я видела, как майор нервничает, кусает губы, как он играет желваками на лице. Я боялась, что он вот-вот сорвется, и тогда... я-то знала, на что способен этот человек. Но сведения о нашей авиации, должно быть, были нужны им до зарезу, и он сдержался; он приказал унести пленного и даже пожелал ему доброй ночи. Но как только закрылась дверь, он разразился страшными ругательствами, хватил стакан коньяку и с совершенно измученным видом и блуждающими глазами бессильно бросился на диван. Вошел шеф, меня отпустили и отвезли домой.

В эту ночь я не сомкнула глаз, хотя чувствовала себя совершенно разбитой: этот летчик... его глаза смотрели на меня, и в ушах его звучал звонкий, молодой и твердый голос.

Утром я хотела отправиться на явку, чтобы предупредить, что захвачен сбитый над городом советский ас, но не успела: к подъезду подкатила машина. Сам майор сидел в ней.

«Нам приказано во что бы то ни стало выудить у него все об авиации. Есть данные, что он из этих новых частей, только что прилетевших сюда. Фрейлейн, вы должны поговорить с этим проклятым большевиком. Говорите ему что хотите, только вытащите из него что сумеете. Вас озолотят! Слово чести, вы заслужите Железный крест».

Я никогда еще не видела этого спокойного, хладнокровного карьериста-палача в таком волнении. Он так волновался, что даже проболтался, что из ставки послан авиационный генерал. И только для того, чтобы получить эти сведения... У меня не было выбора. Поговорить с летчиком один на один было нужно для дела. Необходимо было предупредить его. Но я вспомнила этот его взгляд, и мне, ко многому за эти страшные месяцы привыкшей, было страшно войти в его камеру. Вы представляете, кем я была в его глазах!

Но я заставила себя войти и, когда дверь захлопнулась за мной, даже подошла к нему. Со вчерашнего дня он еще более осунулся, похудел, глаза его раскрылись шире. Встретил он меня тем же презрительным взглядом. Мне показалось, что он даже как-то передернулся, когда я приблизилась к нему.

«Как вы себя чувствуете? Был ли у вас врач?» — спросила я, чтобы как-то завязать разговор.

«У них ничего не вышло, так теперь натравливают на меня немецкую овчарку, — недобро усмехнулся он и упрямо добавил: — Тоже не выйдет».

Я вспыхнула, слезы, должно быть, выступили у меня на глазах.

Голос у него был совсем тихий, он, видимо, очень ослабел за эту ночь, но продолжал так же твердо и жестко:

«Чего же краснеешь? Продажные шкуры не должны краснеть! Вот погоди, попадешься ты к нам, там тебе пропишут».

Я едва сдержалась, чтобы не грохнуться тут же перед ним на колени и не рассказать ему всего: так тяжело звучали в его устах эти оскорбления.

А он продолжал, все повышая голос:

«Думаешь, отступишь с немцами, убежишь от нас? Догоним!



В самом Берлине сыщем! Никуда от нас не уйдешь, не скроешься!»

И он захохотал. Нет, не нервно — у него, должно быть, вовсе не было нервов, — он захохотал злорадно, торжествующе, как будто он победителем стоял в Берлине, верша суд и расправу, а не лежал весь забинтованный, умирающий во вражеском застенке.

И тогда я бросилась к нему и зашептала, позабыв всякую осторожность:

«Они ничего не знают. Они хотят узнать от вас о каких-то новых авиационных частях. Здесь страшная паника. Они боятся, смертельно боятся. Не говорите им ничего, ни слова. Особенно опасайтесь этого вчерашнего рыжего майора. Это ужасный человек».

Отпрянув от меня, он с удивлением слушал.

«Так, — удивленно произнес он и повторил: — Та-а-ак! — Глаза у него, как мне показалось, подобрели, но смотрели зорко, изучающе. — Та-ак, бывает. — Он усмехнулся, но уже не зло; и вдруг, подмигнув мне, закричал во весь голос: — Прочь, продажная шкура! Ничего я тебе не скажу! Ни тебе, ни твоим хозяевам! Не добьетесь от меня ни слова!»

Он долго кричал на всю тюрьму. Потом тихо спросил:

«Так вы...»

Я кивнула головой. Я вся дрожала, зубы мои выбивали дробь.

«Ну, успокойтесь, — произнес наконец он, — и говорите только честно: мне конец?»

«Если будете молчать — расстреляют».

Мы опять испытующе посмотрели друг на друга.

«Жаль, мало я пожил... А как хочется жить!.. Ну, ступайте отсюда».

«Не надо ли что передать туда?»

«У вас очень измученные глаза, я вам почти верю, — задумчиво ответил он. — Почти. И все-таки... ничего я вам не скажу. Не надо... Так лучше и вам и мне... и прощайте, вы, девушка...» — Он вздохнул и опять принялся громко поносить меня, так, чтобы это было слышно в коридоре.

Меня душили слезы. Такой человек! Такой человек! И ничем ему не поможешь... Я выбежала из камеры. Майор нетерпеливо шагал по коридору, он, вероятно, подслушивал нас, но по лицу я увидела, что он ничего не понял, кроме этих ругательных слов. Я еле держалась на ногах. Мне было все равно. Майор, бледный от злости, играл скулами.

«Не плачьте, фрейлейн, вы на службе. Как только он перестанет быть нам нужным...» — Он не договорил.

Я не помню; как вышла из тюрьмы.

Девушка вздохнула и замолчала. Должно быть, нервы ее были теперь совсем расшатаны. Ее бил озноб, нижняя челюсть дрожала, лицо передегивал нервный тик. Она долго молчала.

— Мне очень трудно рассказывать, но мне хочется, чтобы вся страна узнала, как ведут себя там советские люди. Ведь об этом вы только догадываетесь. Я обязана досказать. Это мой долг. Ведь никто, кроме меня, не знает о последних часах этого человека...

После нашего разговора в тюрьме весь день я ходила в каком-то тумане. Я призывала всю свою волю, тренировку, все, что во мне было лучшего, чтобы сдержаться, не распутиться при них, при этих,— и все-таки я не смогла и, когда заговорили о нем, разревелась. К счастью, майор уже рассказал шефу о нашем визите в тюрьму, они поняли это по-своему и принялись меня утешать. А я слушала их и закрывалась руками, чтобы на них не смотреть. Я боялась, что не стерплю и сделаю какую-нибудь глупость.

Но самое страшное ждало меня впереди. Вы, наверное, знаете о нашей работе? И обо мне? Я не новичок. Но это было для меня самое тяжелое испытание. Этот самый генерал авиации, какой-то их «национальный герой», любимец Геринга, они там все перед ним на задних лапках ходили, решил сам допросить летчика. Это был высокий самоуверенный человек с румяным, каким-то фарфоровым лицом и бесцветными пороссячьими ресницами. Он сам пошел в тюрьму. Его сопровождали мой шеф, майор и я. Он сразу подошел к летчику, назвал ему довольно громкую фамилию и протянул ему руку. Тот отвернулся и ничего не ответил.

«Вы плохо ведете себя, молодой человек. Я генерал, герой двух войн. Закон чести повелевает военному отвечать на воинское приветствие старших».

Я перевела эту фразу. Вероятно, генерал был хороший актер. Все они там, кто трется на фашистской верхушке, умелые комедианты. Но он говорил с такой подкупающей доброжелательностью!

«Что вы понимаете о чести?» — усмехнувшись, ответил летчик.

Я перевела. Генерала это не смутило. Он только на минуту нахмурился, но сейчас же спросил:

«Может быть, с вами дурно обращались? Почему вы так озлоблены? Вы недовольны уходом, медицинской помощью? Заявите мне, я сейчас же прикажу все сделать. Герой остается героем в любых обстоятельствах».

«Спросите, что ему нужно», — устало ответил летчик.

Он, видимо, очень страдал от ран, но не желал, чтобы враги заметили его страдания, и только пот, покрывший его лоб и лившийся струйками в бинты, показывал, каково ему.

Генерал явно терял самообладание.

«Скажите ему, черт подери, что у него хороший выбор. Маленькая информация об авиационных частях, о которой все равно никто из его соотечественников не узнает, и тихая, спокойная жизнь до конца войны на одном из лучших европейских курортов — Ницца, Баден-Баден, Бад-вильдунген, Карлсбад... Об упрямстве его тоже никто не узнает: могильные черви с одинаковым аппетитом жрут трупы героев и трусов».

Я перевела.

Летчик деланно засмеялся:

«Переведите генералу, что он — достойный выкормыш своего фюрера».

Не найдя в немецком языке слова «выкормыш», я перевела его как «воспитанник», и, к моему удивлению, этот самодовольный тупица неожиданно просиял. Он налился важностью и напыщенно произнес:

«Это так, лейтенант правильно отметил, для меня фюрер — недостижимый образец. — И добавил, что теперь несомненно они найдут общий язык — два солдата, два героя. И он спросил: — Пусть господин лейтенант, который только что показал, что он куда разумнее многих соотечественников, пусть он скажет, почему так безнадежно упрямы эти русские, почему, отступая, они сами жгут дома, почему за линией фронта не желают покоряться и продолжают безнадежную борьбу, навлекая на себя репрессии и кары, почему предпочитают умирать, не раскрывая карт, хотя и дураку ясно, что война проиграна. Почему?».

Этот самодовольный болван, услышав от летчика, что он достойный ученик Гитлера, решил, что тот сказал ему комплимент и идет на все условия. Генерал расфилософствовался и явно рисовался перед моим шефом и перед майором, которых считал посрамленными.

Я сейчас же перевела летчику вопрос.

«Балда! — отчеканил он. — Потому что мы — советские люди, не им чета».

Если бы вы видели его в эту минуту! Он приподнялся на локте, его брови, особенно черные оттого, что они смотрели из рамки бинтов, нахмурились, глаза сверкали.

Генерал взбесился. Он вскочил, скверно выругался и произнес пого-

ворку, соответствующую примерно нашей: «Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит». Он сказал, что лейтенант глупое, тупое животное, что он черной неблагодарностью платит за такое рыцарское обращение, за такой уход.

«Я думал, что этот уход полагается по международному соглашению об уходе за ранеными», — ответил лейтенант.

«Соглашение! Ха-ха! Станем мы тратить немецкие бинты на русских свиней, от которых не имеем ничего, кроме вони!»

Генерал кричал, топал ногами. Мой шеф, понимая, что это лишает их последней надежды хоть что-нибудь выудить, почтительно и настойчиво пытался его удерживать. Но где тут!

Когда я перевела фразу генерала, раненый летчик вскочил на носилках, кулаками разбил гипс на ногах и стал срывать с головы, с шеи марлевые повязки. На лицо ему хлынула кровь.

«Не надо мне фашистского милосердия!» — бормотал он.

«Грязные фанатики, варвары, страна северных папуасов!» — кричал генерал.

И вдруг — это было мгновенно — он отшатнулся, зажимая лицо: лейтенант плюнул ему в глаза кровавой слюной.

Они все трое набросились на него и стали бить ногами по чему попало. Раненый, рыча, отбивался, — он был еще крепок, ярость удесятерила его силы. Сидя на носилках, весь залитый кровью, он хлестал их по лицам, и они никак не могли схватить его.

Я стояла тут, рядом. Вы понимаете, я видела, как звери терзают этого светлого, гордого человека, самого лучшего из людей, каких я встречала за свою жизнь. Всем существом моим рвалась я броситься ему на помощь и если не помочь, то хоть умереть вместе с ним! Я не боялась смерти. Нет! Но я была на посту и знала, что теперь, накануне нашего наступления, моя работа здесь особенно нужна и я не имею права выдать себя. Выдать себя, погибнуть, защищая его, было бы для меня изменой родине, ударом по нашему делу. Что бы ни произошло, нужно было, чтобы информация поступила, чтобы вы тут, в армии, знали, что готовят против вас, что замышляют наши противники.

И я совершила в этот день единственный, возможно, действительно героический поступок. Я даже не вскрикнула, сидела, вцепившись в кресло так, что ногти у меня потом посинели, и старалась запомнить все. На моих глазах они забили его до смерти. Этот не знакомый мне чудесный человек погиб, отбиваясь. Вся камера была забрызгана его

кровью. Но и я в этот час оказалась достойной его, я не выдала себя. И как мне потом ни было трудно, я продолжала свое дело до того дня и часа, пока вы не взяли Харьков...

Она вся тряслась, эта хрупкая девушка с нежной внешностью и нервами закаленного бойца, с волей старого солдата.

— Я даже не знаю его имени,— и теперь не знаю, хотя никогда не забуду его. Он всегда будет передо мной, такой сильный, мужественный, прекрасный!..

И вдруг, закрыв лицо руками, она зарыдала, вся сотрясаясь и трепеща, как молодая березка в яростных порывах осеннего ветра. Высокая прическа рассыпалась, шпильки попадали на землю, волнистые локоны раскатились по грубому сукну шинели, и сразу стала видна широкая седая прядь.

Потом, как-то сразу, девушка успокоилась. Лицо ее, мокрое от слез, стало твердым, даже жестким, она вытерла глаза, собрала и заколола волосы и усмехнулась:

— Нервы... Ничего не поделаешь, придется отдыхать... Мне дают отпуск.

— А потом?

— Опять туда, к ним, ведь война не кончилась.

Она стала суровой, замкнутой, сразу как-то состарилась лет на десять.

— Туда? После таких испытаний?

— Он сказал тогда: «Мы — советские люди». В этой фразе — весь он. Я запомнила это на всю жизнь.

1943 г.

Канонада доносилась не спереди, как это чаще всего бывает на войне, а справа и слева, и лейтенанту Владимиру Пастухову, совершенно окоченевшему за баранкой руля, казалось, что едет он в каком-то узком коридоре, огражденном звуковым частоколом из выстрелов и разрывов. Мощный мотор грузовика напряженно выль, устав работать на первой скорости. Судорожно звенели надетые на колеса цепи, раскидывая талый снег. Раненый шофер, ефрейтор Лиходеев, которого лейтенант по его просьбе привязал ремнями к спинке сиденья, то, скрипя от боли зубами, хрипло бранил бога и немцев, погоду и дорогу, заметенную сугробами, то впадал в забытье, жалобно стонал и тихим, полным ласки голосом, совершенно неожиданным у этого большого грубоватого человека, начинал звать жену Зину. Промозглый ветер остро задувал в разбитые стекла изуродованной кабины. Лиходеев приходил в себя, смотрел на спидометр, где стрелка покачивалась между цифрами пять и десять, и снова принимался браниться.

Иногда на голубой снежной равнине, перечеркнутой косыми и острыми, солонисто сверкающими наметами, то там, то тут с громом вскакивал вдруг черный фонтан земли, и облако разрыва, взметнувшись огромным грибом, долго расплывалось в голубом, безоблачном небе.

— Колонну щупает, сволочь! — гудел сквозь зубы Лиходеев и советовал: — Гляньте, товарищ лейтенант, как там дистанцию-то держат. Нравно, влепит в кузов, в боеприпасы, беды наделает.

Не останавливая машины, лейтенант открывал дверцу и оглядывался. Нет, опытные его ребята строго соблюдали дистанцию. Колонна редкими черными звеньями растягивалась по белой равнине. Хвост ее уходил туда, где небесная голубизна сливалась со сверкающей снежной пеленой, поднимался на пологий холм и исчезал за ним. Самому лейтенанту было не до разрывов. Все внимание его было поглощено двумя вещами: стрелкой спидометра, показывавшей ничтожную скорость, и звуками канонады. Канонада была такая, что порой и отдельного выстрела нельзя было различить. Но лейтенанту все время казалось, что гром пушек слабеет, и им овладевало отчаяние, на какое способна только юношеская, горячая душа, не обдута всеми житейскими ветрами.

«Неужели опоздаем?» — спрашивал он себя. Против воли рука его переключала скорость, нога жала на педаль газа, и машина, взревев, рвалась вперед и останавливалась, судорожно разбрасывая снег цепями буксующих колес.

— Тише едешь, дальше будешь,— цедил сквозь зубы Лиходеев и тянул к рулю большие руки, покрытые бурыми чешуйками запекшейся крови.

Лейтенант переключал скорость, и опять мучительно медленно, как в страшном кошмаре — когда хочешь бежать, спасаясь от чего-то ужасного, а ноги не слушаются и липнут к земле,— двигалась автоколонна по прегражденной косыми сугробами дороге, совершенно невидимой под снегом, но, как вехами, отмеченной на белой равнине остовами разбитых и сгоревших машин. Дорога была пустынна. Только изредка попадались навстречу легко раненые. Группами и в одиночку брели они в тыл по извилистой пешеходной стезе. Лиходеев высовывался из разбитой кабины и спрашивал:

— Земляк, ну как там? Даем жару?

Раненые отвечали по-разному. Каждому из них казалось, что он был на самом ответственном и опасном участке битвы.

Но все сходились на том, что немец таранит окружающее его кольцо с особой яростью и что такой «жары», как сегодняшняя, они не знали еще за все восемнадцать дней с начала Корсунь-Шевченковского побоища.

— Со снарядами, товарищи, как? — крикнул Лиходеев двум раненым артиллеристам, ковылявшим по снегу, поддерживая друг друга под руку.

— Не густо... Считаем, считаем снаряды,— отозвался один из них, с забинтованной головой, и, обернувшись, крикнул вслед медленно двигавшейся машине: — А вы жмите на полный, чего ползете, ждут ведь вас...

Лиходеев бессильно обвис на ремнях. Лейтенант, охнув, впился в баранку руля и весь оцепенел от страшного тоскливого чувства: неужели он все-таки опоздает, неужели из-за них — нет, не из-за них, а именно из-за него — смолкнут пушки, прорвутся, сомкнутся встречные клинья немецких войск, и тысячи, десятки тысяч врагов, зажатых искусством и хитростью советских полководцев в тесном кольце, вырвутся на простор?

Лейтенант Владимир Пастухов считал себя на войне неудачником. Причиной этому служило, по его мнению, одно его юношеское увлечение. У каждого из его школьных друзей была какая-то особая страсть. Его сосед по парте, маленький, крепко сбитый, весь какой-то пружинистый Саша Суханов, любил спорт. Тихий, худой, рассеянный Игорь Морозов с шестого класса, как говорили одноклассники, «заболел радио» и до самого выпуска из школы в часы досуга собирал какие-то необыкновенные приемники. Володя Пастухов, сын обкомовского шофера, с раннего детства увлекся автоделом. Все каникулы он проводил у отца в гараже и в областном автоклубе, копался в моторах, изучал схемы. Пятнадцатилетним парнишкой он получил водительские права и умел разбираться в моторах машин всех имевшихся в городе марок. Неразлучную тройцу, имевшую столь различные наклонности, в школе звали «три мушкетера». Все трое были потихоньку влюблены в маленькую, тоненькую одноклассницу Нину Соколову, которая не была ни спортсменкой, ни автомобилисткой, не интересовалась радио, а проводила весь свой досуг в биологическом кабинете школы, среди земноводных, пресмыкающихся и грызунов.

Разные наклонности не мешали им крепко дружить, и когда в тихое, погожее воскресенье неожиданно началась война, все «три мушкетера» и их тоненькая дама, не сговариваясь, встретились в закуренной, битком набитой призывниками приемной районного военкомата. Год их призыву не подлежал, но каждый из них пришел сюда с написанным наспех и в самых взволнованных выражениях заявлением на имя военкома. Они просили зачислить их, комсомольцев, добровольцами в ряды Красной Армии.

В военкомате были горячие часы. Сбившиеся с ног учетчики едва успевали принимать от людей повестки. С тремя юношами и хорошенькой денушкой в кокетливых туфельках и в праздничном пестром платье никто не хотел разговаривать. Перепробовав все средства убеждения, они, наконец возмутьившись, сломали писарские кордоны и с заявлениями в руках все четверо прорвались в кабинет военкома. Они заявили, что

хотят служить вместе, в одной части. Усталый, осунувшийся, побледневший за этот день майор, с трудом оторвав взгляд от каких-то бесконечных списков, рассеянно выслушал сбивчивую их просьбу и, чуть улыbnувшись посеребрившими губами, только вздохнул и написал на их заявлениях: «В отдел формирования». И тут дороги друзей разошлись. Спортсмен Суханов попал в пехоту и сразу же был направлен в разведроту. Морозова послали в глубокий тыл изучать десантное дело. Маленькая Нина получила путевку на военные курсы санинструкторов. Володя Пастухов, к его гневу, был направлен в автороту танковой бригады, формировавшейся под городом. Расставаясь, друзья утешали его как могли. Договорились ежемесячно обмениваться письмами.

С первых же дней Владимир Пастухов выдвинулся среди военных шоферов техническими знаниями и дисциплинированностью. Его хотели оставить на ремонте, но это было еще дальше от войны, и он умолял командира поставить его на грузовик. Командир, преисполнившийся к нему доверием, стал поручать ему трудные и ответственные задания. Постепенно приобретался опыт. Под Сталинградом, везя боеприпасы укрывшимся в лощинках противотанковым батареям, Пастухов заменил убитого командира колонны.

Под огнем он без потерь провел колонну по балочке до самых батарей. Артиллеристы достреливали в те минуты последние снаряды.

Юноше присвоили звание младшего лейтенанта. Его назначили командиром автоколонны. Вскоре колонна его стала лучшей в корпусе. Имя лейтенанта Пастухова стало мелькать в штабных сводках. Но сам он продолжал тосковать «по настоящему делу», и когда в положенное время с разных концов фронта от друзей приходили письма, мрачнел, замыкался в себе.

Веселый, самоуверенный Саша Суханов сочно повествовал в своих письмах о подвигах своего разведвзвода, вылазках во вражеские расположения, о ловле «языков», о диверсиях. Тихоня Морозов с полгода молчал, а потом разразился длинейшим письмом, в котором подробно расписывал, как он где-то на юге проник с рацией во вражеские тылы, как оттуда корректировал по радио огонь наших морских батарей, как потом его рация помогла партизанам совершить большой, трудный поход по горам. Нина все письма, написанные аккуратно, школьным почерком, наполняла рассказами о героических подвигах, выносивших раненых из-под огня. Щадя самолюбие друга, она ничего не писала о себе, но лейтенант полагал, что героизм стал для Нины бытом.

Милая, чуткая девушка становилась все ближе и дороже по мере того, как увеличивались дни их разлуки и росло расстояние, разделявшее их на огромном фронте.

Что мог ответить он друзьям, находившимся в гуще войны, на самых опасных ее участках? Что исправно доставляет на место назначения сухари и снаряды? Что шоферы колонны любят и слушаются его? Что последний инспекторский осмотр нашел подчиненные ему машины в отличном состоянии и он со своей колонной вышел на первое место в армии по экономии бензина?

Он думал, что насмешница Нина, получив письмо с перечислением таких прозаических и, как казалось ему, далеких от войны вещей, обязательно должна сморщить курносый носик: «Нашел чем хвастаться — ломовой извозчик!» Представив себе это, он писал ей и друзьям письма короткие, как рапорты. В ответах друзья бранили его за сухой тон, высказывали ехидные предположения, что он, вероятно, совсем обюрократился в автобате. Нина же в последнем письме даже пофилософствовала на тему о том, что пребывание в армейских тылах портит характеры и меняет людей до того, что они начинают забывать даже друзей детства.

Эх, с каким бы жаром при личной встрече рассеял лейтенант все сомнения! Какие бы слова нашел он, чтобы рассказать ей, что каждая его свободная минута отдана ей, что, засыпая где-нибудь в дороге, он думает о ней, и ему становится тепло и уютно на холодном сиденье машины, что в минуту опасности ее образ является к нему и делает его бесстрашным и хладнокровным. Как рассказал бы он ей при встрече о своем приятеле ефрейторе Лиходееве, об остальных водителях, готовых ехать с ним хоть в самое пекло, о том, какие это все смелые, храбрые, дружные солдаты! Но все, что так легко можно было бы рассказать при встрече, никак — ну никак! — не укладывалось в строки письма. И, боясь насмешить напыщенным стилем девчат из военной цензуры и адресатку, он яростно рвал пространное письмо и вместо него на четвертушке бумаги писал сухой короткий ответ, похожий на рапорт о доставленных грузах.

Но вот наступил день, когда лейтенанту Пастухову подумалось, что ему наконец будет о чем написать любимой девушке и друзьям.

Части Красной Армии, развертывавшие за Днестром весеннее наступление, замкнули у Корсунь-Шевченковской большую немецкую группировку. Продолжая двигаться вперед в условиях невероятной украинской

распутицы, они сжимали это кольцо. Только под Сталинградом видел лейтенант Пастухов такие массы брошенной техники, такое обилие трупов, валявшихся в лощинах, балках, на полях у околиц сел и на опушках лесков, какие видел он здесь, на черной и жирной украинской земле, уже сбросившей снежный покров, густо насыщенной весенней влагой.

Войска всех родов оружия взаимодействовали в этой великолепной операции, и автоколонна лейтенанта Пастухова — лучшая в подвижной механизированной группе — пятнадцать суток, без перерыва, без остановок на ремонт и на ночлег, возила военные грузы. На исходе пятнадцатых суток штаб разрешил наконец колонне расположиться на отдых. Сломленные усталостью, шоферы, плотно закусив, заснули прямо на сиденьях в кабинах машин. Самого лейтенанта сон сломил на складе, куда он сдал привезенные боеприпасы. Он заснул, присев на горке упаковочных стружек, и верный друг Лиходеев не стал его будить, а только подмостил ему под голову вешевой мешок да потеплее укутал брезентом.

Лейтенант спал, и снилась ему Нина, такой, какой она была на последней присланной ему фотографии: в военной форме со старшинскими погонами, которая ей очень шла. Она смеялась и все звала его куда-то, теребила за плечи, настойчиво тянула за руку. Она знала, что ему обязательно нужно пойти за ней. Он всем своим существом стремился сдвинуться с места, но, как это часто бывает во сне, несмотря на все усилия, не мог оторваться от земли. Наконец, рассердившись, Нина схватила и потянула его обеими руками. Сила, державшая его, ослабла. Радостно вскрикнув, он устремился за Ниной и... открыл глаза. Острый луч электрического фонарика бил ему в лицо, и откуда-то из-за темной границы этого луча знакомый голос начальника боепитания корпуса басил с хрипотцой:

— Ну и спите же вы, доложу я вам!.. Отряхайте скорее стружки и прямо к генералу... Боевое задание первейшей важности.

Очарование сна еще не рассеялось, сердце билось учащенно и сладко, а лейтенант уже торопливо шагал по цепляющейся за ноги грязи за темной фигурой начальника боепитания, выхватывавшего острым лучом фонарика то черное густое месиво раскисшей тропинки, то белую стену хатки, то выпачканные в грязи сапоги вытягивавшегося перед ним часового. Порученец, дремавший в сенях на перевернутой кадке, еще издававшей пряный запах соленых помидоров, сейчас же провел их в хату, где в белом свете аккумуляторной лампочки, заложив руки

за спину, поскрипывая щегольскими сапогами, ходил взад и вперед командир механизированного соединения, молодой, но уже поседевший генерал, которому большие круглые очки придавали совсем штатский вид.

— Долго шли,— хриловато произнес генерал, поправляя на носу дужку очков и ловко заводя их оглобельки за уши.— Колонна в порядке? Машины заправлены?

— Так точно, товарищ генерал,— отчеканил лейтенант и хотел было сказать, что люди отдыхают после нечеловеческого двухнедельного напряжения, но генерал его перебил:

— Лейтенант Пастухов, передаю вам боевое задание командующего фронтом: немедленно выехать в район Шполы. Возьмете на складах снаряды для танков и гвардейских минометов. И чтобы...— Генерал взглянул на часы, потом поднял глаза на юное, порозовевшее от волнения лицо лейтенанта и раздельно добавил: — И чтобы завтра к двум ноль-ноль доставить их сюда.

Как-то однажды прорвавшись в тыл немецким танкам удалось атаковать штаб корпуса. Лейтенант Пастухов видел тогда в критическую минуту, как этот генерал, похожий на ученого, хладнокровно рассылал людей на посты и руководил отражением внезапной атаки. Сейчас он явно волновался и даже не пытался этого скрыть. Когда лейтенант повторил приказание, он подтолкнул его к карте, разостланной на столе, как скатерть.

— Поймите, лейтенант Пастухов, от вас, может быть, в какой-то степени зависит сейчас судьба всей этой замечательной операции.

На карте, недалеко от толстой голубой жилы Днепра, был синим карандашом заштрихован небольшой, неправильной формы овал, захватывавший всего несколько селений. Узкая полоса, занимавшая на карте пару сантиметров, отделяла этот овал от фронта неприятельской армии, и на полосу эту, на которой густо стояли номерки наших частей, с двух сторон — от центра окруженной группировки и извне, навстречу ей,— устремлялись острые толстые синие стрелы.

Генерал указал карандашом в центр узкого перешейка, отделявшего окруженную группировку от основной массы немецких войск. Как раз в эту точку и были нацелены зловещие стрелы.

— Мы с вами здесь,— сказал он.— Понимаете? Перехвачен приказ Гитлера окруженным войскам попытаться любой ценой прорвать наше кольцо. С юга навстречу им... Слышите? — Генерал двинул локтем в сторону четко доносившейся канонады, от которой гудели стекла в окнах

хатки и, посверкивая в холодном луче лампочки, покачивалась в графине вода.— С юга навстречу им пробивается первая бронетанковая армия генерала Хубе. С двух сторон они таранят наше кольцо. Только что здесь, в этой хате, был сам командующий фронтом,— генерал с уважением назвал фамилию одного из самых боевых и проницательных советских полководцев,— он передал приказ Ставки не выпустить ни одного неприятеля. Понятно?

— Так точно,— тихо ответил Пастухов, чувствуя, как от прикосновения к высшим военным тайнам у него взволнованно забилося сердце. Ему даже показалось, что оно бьется так громко, что генерал может услышать, и он незаметно положил руку на сердце.

— Мы выполним этот приказ, если нам вовремя подвезут снаряды. Понимаете? Их будут бросать на парашютах. Но основное предстоит сделать вам. Немцам не пробиться, если ваша знаменитая,— генерал особенно подчеркнул «знаменитая»,— автоколонна преодолет невероятную грязь и вы привезете боеприпасы. Поняли?.. О доставке доложите лично мне.

Лейтенант отрубил «так точно», стукнул каблуками и, даже не спросив разрешения генерала, бегом выскочил из хаты. Наконец-то ему поручили настоящее дело! Он весь светился взволнованной радостью, и это его волнение сразу же передавалось заспанным людям, которых с трудом выволакивали из машин и поднимали на ноги. Они как-то сразу, как гусь воду, стряхивали тяжелый сон. Через десять минут, урча моторами, разбрасывая цепями колес густую грязь, колонна с притушенными фарами вышла за околицу села по заданному направлению.

В душе лейтенанта все звенело и пело. Это казалось каким-то продолжением радостного сна. Он знал, что машины не подведут. Он верил своим людям.

И в самом деле, несмотря на страшную грязь, почти парализовавшую движение на дорогах, заставлявшую немцев десятками, сотнями бросать машины, колонна добралась до армейской базы даже до срока, назначенного лейтенантом. Встав в живую цепь, шоферы помогали грузить снаряды. Работали с таким энтузиазмом, что тяжелые ящики со сталью порхали над бортами машин как фанерные цибики с чаем. Даже медлительные и величественные кладовщики, даже военные писаря, работающие на выписке боеприпасов, захваченные общим порывом, помогали погрузке.

Через час колонна двинулась назад. Лейтенант Пастухов ликовал.

Может быть, до рассвета, до того, как подсушенная ночными заморозками грязь раскиснет и превратится в кисель, удастся пройти наиболее разбитые участки дороги. И воображение уже рисовало, как он докладывает генералу о досрочной доставке боеприпасов, как генерал благодарит его и его ребят, как потом, отпущенный на отдых, лейтенант забивается куда-нибудь в укромный уголок хатки и пишет, с упоением пишет большое письмо Нине, — письмо, о каком он мечтал уже третий год беспокойной военной жизни.

Готовые фразы этого будущего письма звучали у него в ушах. Уж теперь-то он прямо напишет однокашникам, что возить снаряды — дело не менее важное и даже, черт возьми, не менее опасное, чем ходить в разведку или во вражеском тылу выстукивать радиogramмы.

И вот тут случилось то, чего увлеченный радостными мыслями лейтенант никак не ждал. Внезапно, точно обрушившись с неба, завязалась одна из тех страшных метелей, какие в феврале бывают в этих приднепровских местах. Шевелящаяся мгла окружила машины. Широкие белые полотнища затрепетали перед фарами. Они потускнели. Снег повалил так густо, что за ветровым стеклом было трудно разглядеть побелевшую, точно отороченную пушистым кроличьим мехом, кромку радиатора.

— Придется загорать, товарищ начальник, — сказал Лиходеев, оставившая машину, которая словно уперлась в сплошную белую шевелящуюся стену.

— Вперед! — свирепо крикнул лейтенант, порываясь к рулю. — Вперед!

— Куда ж вперед? Тут кюветы глубокие, ввалимся — и трактором не вытащишь, — невозмутимо ответил шофер.

Чувствуя, что внутри у него вдруг все похолодело, лейтенант перекинул через плечо ремень сильного аккумуляторного фонаря и выскочил из машины в воющую и шелестящую снегом тьму. Неужели стоять? В такую погоду и авиации не вылететь! Батареи там, на кромках горловины, останутся без боеприпасов, немецкие танки пробьют кольцо!

Став на четвереньки, лейтенант нащупал под сырым пушистым снегом колею. Согнувшись, освещая фонариком дорогу, иногда для верности щупая ее рукой, он двинулся вперед. Лиходеев тронул машину, следя сквозь белый шевелящийся мрак за слабым мерцанием лейтенантского фонарика. По влажному следу первой машины, четко зачерневшему в свежем снегу, двинулась вся колонна. Буран гудел, свистел, бесновался, с яростью обрушивая на поля новые и новые снежные тучи, махая

пушистыми полотнами, с воем бросал их под ноги и, свистя, тащил в поле. Он валил лейтенанта с ног, толкал его в спину, колол лицо острыми льдистыми иглами. Но лейтенант, наклонясь вперед, проламывая собою ветровые волны, хоть и не быстро, все же шел по дороге, показывая машинам дорогу в этой свистящей снежной каше.

Потом, сыпанув на прощанье снегом особенно щедро, буран стих так же внезапно, как и налетел. Снова по обеим сторонам коридора стала слышна канонада, задрожали зарницы близких разрывов. На небе выпали звезды, похожие на брызги осветительных ракет. Показавшаяся луна облила все холодным магниевым светом.

Ландшафт изменился, как будто, пока бушевала метель, кто-то успел сменить декорацию. Вместо широко разлившейся по полям дороги, вместо набрякшего водой чернозема, тускло поблескивавшего под луной, всюду, куда ни взглянешь, лежала, синевато сверкая, белая пустынная равнина. Дорога потерялась. Но как караванный путь в пустыне угадывается по торчащим из песка костям людей и животных, так и эта фронтовая дорога угадывалась в снегу по черным остовам сожженной немецкой техники, торчавшим из снега.

Едва чувствуя под собой ноги, лейтенант ввалился в кабину головной машины. Он изнывал от жары и был совершенно мокр, как будто его пями в полушубке только что искупали в горячей воде.

Едва передохнув, он спросил Лиходеева, сколько же километров сделали они в метели. Ему думалось, что они проехали очень много.

— Да километров пять-шесть,— невозмутимо ответил Лиходеев. Ловко вращая баранку, он вел машину сквозь строй безобразных железных остовов, каким-то особым шоферским чутьем угадывая под снегом колею.

Канонада становилась слышнее. А машины шли медленно, с трудом пробивая путь через косые, преграждавшие дорогу снежные наметы. Иногда, то справа, то слева, то впереди, взметывались вверх багровые вспышки. Лейтенант знал, что это значит. Но даже мысль об опасности не приходила в голову. Видя, что ночь понемногу бледнеет, он прикидывал в уме оставшееся расстояние, делил его на среднюю скорость машины и гадал: успеют ли они прибыть в положенный час. Он был так поглощен подсчетами, что, когда где-то рядом ухнуло так, что грузовик качнуло, плеснули выбитые стекла и Лиходеев вдруг, отвалившись от баранки, стал со стоном сползать со скамьи, лейтенант не сразу отдал себе отчет в том, что произошло.

Машины остановились. Сзади, из зеленоватой полумглы погожего



морозного утра, к раненой машине бежали водители. Заглядывая в выбитые стекла кабины, они справлялись, что случилось, давали советы лейтенанту, ловко бинтовавшему раны спутника.

— Ох, гоните их по машинам... Поехали, поехали,— сквозь зубы торопил Лиходеев, которого лейтенант усадил на сиденье.— Мотор тянет? Сами доведете?

Лейтенант, у которого от взрыва остро болела голова и скрежещуще звенело в ушах, сел за руль, дал гудок, и колонна тронулась. И вот теперь, прокладывая себе дорогу по белой равнине, над которой то там, то тут продолжали вскидываться черные фонтаны земли и поднимались высокие бурые грибы густого дыма, долго стоявшие в тихом морозном воздухе, колонна упорно двигалась в заданном направлении.

Разрывы теперь были слышны даже сквозь рев мотора. Все больше шло навстречу раненых. До места назначения оставалось всего с десяток километров. Сердце лейтенанта начало было снова наполняться взволнованной радостью. Но дорогу пересекала глубокая извилистая балка. Мост, по которому они вчера проехали, висел теперь безобразным оборванным кружевом над черной взлохмаченной водой небольшого, но быстрого ручья. Правее моста проходившие танки проложили брод. Лейтенант направил машину туда. С ходу она миновала приречную мочажину, содрогаясь на камнях и разбивая колесами воду, прошла русло, но уже на той стороне вдруг затормозила и, как сразу понял лейтенант, непоправимо загрузла в грязи. Весь похолодев, он сделал несколько судорожных рывков. Буксуя, колеса глубже и глубже входили в землю. Но — и это было самым страшным — головная, завязнув, преградила путь остальным. Подбежавшие шоферы окружили машину, уперлись в нее плечами, раскачивая, толкали ее, старались приподнять на руках. Мотор ревел, выл, звенели цепи, густо хлюпала грязь. Машина судорожно рвалась и все глубже вращалась в хлипкий грунт.

— Не иначе, придется разгружать,— прошептал Лиходеев, придя в себя.

Разгружать? Это минимум час задержки. А солнце уже высоко. И впереди еще порядочный отрезок пути. Стрелки часов на щитке машины неумолимо движутся, будто часы назло ускорили ход. Лейтенант Пастухов почувствовал вдруг страшную усталость. Не задумываясь, он отдал бы год жизни за каждый выигранный час. Неужели разгружать? Опоздали... опоздали... Нарушили приказ...

Он выскочил из кабины. Машина, говоря по-шоферски, прочно легла

на пузо. Усталые, отчаявшиеся люди стояли вокруг, бессильно опустив руки, мокрые, забрызганные грязью с головы до ног. Они с надеждой смотрели на лейтенанта. Что же делать?

И вдруг все, как по команде, подняли головы, насторожились. Где-то за скатом оврага слышался рокочущий звук мотора. Все двадцать два человека с надеждой смотрели вверх. Те, что помоложе, бросились карабкаться на скат и уже с гребня торжественно кричали вниз:

— Танк, танк идет!

Да, только танк с могучим мотором, с широкими цепкими гусеницами мог выручить колонну. Танк приближался. Вот он рыкнул на повороте. Его выбеленный маскировочной известью корпус показался над скатом оврага, перевалил через гребень и осторожно, как тяжелый и сильный зверь, рыча и фыркая, танк стал спускаться к броду. В башенном люке, видный по пояс, стоял плотный человек в ушанке и просторном военном полушубке, крепко перехваченном ремнем.

У него было хмурое, суровое лицо, губы были плотно сжаты, серые глаза смотрели остро и зорко. Шоферы тотчас окружили машину.

— Друг, вытащи... Помоги... С боевым заданием едем...— послышалось со всех сторон.

Пожилой башнер со стальными глазами, рассеянно слушая их, нетерпеливо оглядывался кругом, видимо высматривая, как лучше объехать застрявшую и преграждавшую путь машину.

— Друг, помогать надо, будь человеком... Недельную пайку табака дам... Табак — вырви глаз... Нам флягу фронтовой на путь дали. Мы и начать не успели — не до нее было, забирайте всю, только вытащите,— соблазняли шоферы.

Какая-то тень улыбки мелькнула на волевом лице пожилого башнера, тронула его поджатые губы, чуть заметно засветилась в уголках глаз. Он отрицательно покачал головой. Но шоферы уже заметили, как на мгновение смягчилось это жесткое лицо, успели разглядеть под маской суровой непреклонности простое, доброе, глубоко человеческое. Голоса загомонили с новым воодушевлением:

— Помоги, земляк! Что тебе, жалко?.. Первый раз, что ли, по фронтовой дороге едешь?.. Не солдат, что ли, не знаешь, что друг дружке положено в беде помогать?.. Ты пойми, друг: ведь снаряды везем, снаряды, на самый, как говорится, пупок... Эй, дядя, не будь гадом!

Лейтенант Пастухов вскочил на броню. Он тронул башнера за плечо:

— Товарищ танкист, давай выручай. Слышишь, наши пушки стиха-

ют... Ведь прорвется немец, если боеприпасы не подкинем... Сам командующий фронтом,— и лейтенант, воодушевленно сверкая глазами, как можно внушительнее произнес фамилию широко известного и любимого в войсках полководца,— сам приказал нам к двум ноль-ноль доставить снаряды.

— Некогда, товарищ лейтенант. Мы... с оперативным заданием в штаб фронта едем,— отозвался наконец башнер и, нагнувшись, что-то повелительно крикнул внутрь танка. В это мгновение он показался Пастухову знакомым. Ну да, лейтенант где-то уже видел это круглое лицо с тугими волевыми складками на щеках, этот пристальный взгляд узких серых глаз. Но раздумывать было некогда. Танк дернулся вперед и, рыкнув, стал толчками разворачиваться, явно стремясь обойти завязшую машину.

— Как вам не стыдно! — крикнул лейтенант, и в его зазвеневшем голосе послышались слезы.

Последняя надежда доставить снаряды в срок уходила. Как быть? Лейтенант спрыгнул с машины, забежал вперед и, загородив ей дорогу, смотря ненавидящим взглядом на стоявшего в башне человека, крикнул:

— Не пущу! Пока не вытащишь машины — не пущу. Слышишь? — И вдруг он лег под самые гусеницы, в грязный, мокрый, истолченный сапогами снег. Точно по команде, легли рядом шоферы его колонны, и живая кромка тел преградила танку путь к броду... Танк, сердито рыкнув, точно в недоумении, остановился перед этой слабой, невысокой, но непреодолимой стеной.

Человек в башне, шевельнув русыми бровями, смотрел вниз. Солдаты лежали в грязи на земле с таким видом, что ясно было: они скорее дадут раздавить себя, чем пропустят машину. Скупая, но сердечная усмешка тронула губы башнера. Наклонившись, он что-то приказал экипажу танка, вылез из башни, соскочил на снег. Притопывая и разминаясь, с нескрываемым интересом посматривал на поднявшихся с земли, с ворчанием отряхивающихся шоферов. И опять что-то очень знакомое почудилось лейтенанту в этом высоком, статном танкисте с суровым и волевым солдатским лицом. А люди уже прилаживали буксир к крюкам танка. Работа кипела.

— Вот так оно лучше. А то спорит! Всё равно б не пропустили...

Высокий человек в полушубке похаживал по берегу, нетерпеливо следя, как танк перетаскивал через мочажину одну машину за другой. Но в его взоре уже не было досады, и с особым удовольствием оста-

навливался этот взор на лейтенанте с тонким черным пушком на еще небритой губе, с ярким девичьим румянцем, полыхавшим на худых щеках. Из заднего люка танка выскочил белокурый щеголеватый подполковник. Он пощурился на солнце, удивленно поглядел на то, что происходило у брода.

В это мгновение что-то прошелестело над головами, землю встряхнуло, и фонтан мутной воды вскочил над ручьем, обдав всех крупными брызгами. Человек в полушубке только глазом повел в сторону взрыва и продолжал ходить. Подполковник бросился к лейтенанту Пастухову.

— Вы с ума сошли... Прекратите эту возню... Пропустите танк,— сердито зашептал он вытянувшемуся перед ним лейтенанту. Он с опаской покосился на того, кого Пастухов и шоферы приняли за танкиста.— Это же командующий фронтом. Он спешит на свой энпе на танке, потому что все машины увязли в этой чертовой грязи.

Командующий фронтом! И тут лейтенант понял, что это показавшееся ему знакомым лицо он не раз видел в газетах. Это был тот самый знаменитый генерал, приказом которого он так некстати козырнул, споря с ним же самим. И этого командующего, руководившего здесь сейчас осуществлением плана окружения огромной немецкой группировки, лейтенант Пастухов задержал, заставил вылезти из машины, грозил ему его собственным именем, подверг опасности обстрела. Что же теперь будет? Ну ладно, что бы ни было! Танк перетаскивал последнюю машину. Пусть себе сердится щеголеватый подполковник. Ну, пусть арест, пусть штрафбат, пусть что угодно,— но ведь приказ будет выполнен, снаряды-то придут вовремя! Разогнав под ремнем складки шинели, поправив шапку, лейтенант Пастухов молодцевато подошел к командующему. Вытянулся, бросил руку под козырек.

— Товарищ генерал армии, докладывает начальник автоколонны лейтенант Пастухов... Виноват, не узнал. Готов понести наказание за незаконную задержку.

Командующий резко повернулся на каблуках. По выражению его замкнутого, неподвижного лица трудно было угадать, что он думает. Но в узких серых зорких глазах лейтенант увидел веселые искорки.

— Из какой части? — спросил негромко командующий.

Чувствуя, что все на нем как-то сразу обмякло, потеплело, наливаясь буйной радостью, лейтенант Пастухов звонко отчеканил название части.

— Передайте вашему генералу, что под его началом служат хорошие солдаты и офицеры. Передайте, что командующий фронтом объявил вам

и вашим людям личную благодарность за отличное несение службы,— и, покосившись на шеголеватого подполковника, командующий бросил ему: — Запишите фамилию лейтенанта. Доложите по приезде...

Крепко пожав руку лейтенанта Пастухова сухой, сильной рукой, командующий легко поднялся на броню. Танк двинулся вперед. Лейтенант бегом бросился к головной машине, вскочил в кабину и расцеловал бледное, измученное лицо Лиходеева, ласково улыбавшееся ему.

Машина тронулась по следу, проложенному танком. И хотя опять то справа, то слева возникали земляные фонтаны разрывов, хотя рядом снова впавший в забытие Лиходеев скрежетал зубами, хотя стрелка спидометра не перескакивала цифры пятнадцать, лейтенант теперь уже не сомневался, что доставит груз вовремя, что ни одному врагу не уйти из Корсунь-Шевченковского кольца, что битва на Днепре обязательно будет выиграна и что Нина, прочтя его письмо, не посмеется над ним и, может быть, даже когда-нибудь отдаст свое сердце ему, ломовому извозчику войны, самому скромному и самому верному из всех «трех мушкетеров».

1944 г.

Однажды в самый разгар войны в известной на весь Калининский фронт роте разведчиков, которой, как сейчас помнится, командовал тогда капитан Кузьмин, произошел любопытный спор между двумя любимцами роты — старым солдатом Николаем Ильичом Чередниковым и удачливым снайпером Валентином Уткиным, человеком, годами хотя и молодым, но немало уже повоювавшим.

Чередников, всегда относившийся к молодежи покровительственно и немножко насмешливо, однажды, расхваставшись в блиндаже, в присутствии всего отделения, заявил, будто сумеет он так замаскироваться, что Уткин, подойдя к нему на десять метров и зная наверняка, что он где-то тут, рядом, не сумеет его заметить. Уткин же, парень бывалый, самоуверенный, заявил, что все это «мура собачья», что он, к тому времени подстреливший из засады бог знает сколько гитлеровцев, в пятнадцати метрах муху разглядит, а не то что человека, да еще такого дюжего и здоровенного, как дядя Чередников,— так звали в роте Николая Ильича.

Поспорили на кiset с табаком.

Судьей просили стать «поителя и кормителя» роты старшину Зверева, человека справедливого, пользовавшегося у бойцов уважением.

В час, когда рота отдыхала, отведенная после горячих дел во второй шелон полка, старшина торжественно вызвал Уткина и повел его с собой. Напугуемые солеными шуточками, пожеланиями удачи, они

вышли из расположения роты на задворки деревни, пересекли запущенное, непаханое, затянутое бурьяном поле, огороженное разрушенной изгородью, и остановились на повороте проселочной дороги, там, где она, некруто загибаясь, уходила в редкий молодой березнячок.

— Стой тут и гляди в оба,— сказал старшина, засекая на часах время и сам ища глазами, куда бы это мог спрятаться тут дядя Чередников.

Был серенький, промозглый, ветреный день. Над мокрым полем, над леском, трепетавшим бледной шелковистой зеленью весенней листвы, торопливо тянулись бесформенные бурые облака, почти цеплявшиеся за верхушки деревьев. Крупные тяжелые капли висели на гляцевитых ветках кустов. Холодная сырость пробирала до костей. Но где-то высоко, наперекор непогоде, жаворонки звенели над печальными забурьяненными полями о том, что не осень это, а ранняя весна стоит над миром.

Уткин внимательно огляделся. Местность кругом была ровная, прятаться на ней было негде, за исключением, пожалуй, кустарника, росшего по опушке. К нему-то он и стал присматриваться. Терпеливым цепким взором разведчика он обшарил каждую березку, кочку, каждый кустик. Порой ему казалось, что он заметил несколько примятых травинков, или шматок неестественно вздыбленного мха, или сломанный прут, вжатый ногой в болото и торчащий вверх обоими концами. Разведчик настораживался и хотел уже звать дядю Чередникова, но, взглядевшись повнимательнее, убеждался, что ошибся, и снова, с еще большим вниманием, начинал осматривать местность.

Старшина сидел возле на большой груде камней, что лежала на меже, покуривал и тоже с любопытством поглядывал кругом. От непрерывно сеявшего мелкого дождя трава покрылась сероватым дымчатым налетом, похожим на росу. Каждый след должен был выделяться на ней темным пятном. Но следов не было видно, и это больше всего смущало.

Наконец, к исходу положенного на поиски времени, Уткина взяла досада.

Ему начало казаться, что старый разведчик подшутил над ним, что сидит он сейчас, по обыкновению своему, где-нибудь у костра, подкладывает сухие ветки, мечтательно следит, как танцует и потрескивает огонь, посмеивается в усы над легковерами.

— Разыграл, старый черт! — не вытерпел наконец Уткин.— Все! Пошли!.. Чего тут пустырь разглядывать курам на смех!

И как только он это сказал, где-то совсем рядом, точно из земли, раздался знакомый хриплый голос:

— А ты гляди внимательней... торопыга... Глаз-то не жалей, а то все «я, я, я»! Вот и вышла последняя буква в азбуке.

Заскрежетали, загремели камни, и из соседней, лежавшей рядом, в двух шагах, каменной кучи, находившейся так близко, что Уткин не обратил на нее даже внимания, отряхиваясь и поеживаясь от сырости, поднялась высокая сутуловатая фигура старого разведчика с мокрыми от дождя, обвисшими, прокуренными, изжелта-бурыми усами.

Он обдернул гимнастерку, ловким движением больших пальцев загнал складки за спину, поправил пилотку на голове, вскинул на плечо винтовку, подошел к Уткину, так и застывшему на полушаге с открытым ртом, и протянул руку:

— Давай кисет.

Уткин молча вынул синий шелковый кисет с вышитой гладью надписью «На память герою Великой Отечественной войны», заветный кисет, полученный в первомайском подарке и служивший предметом зависти всей роты. С сожалением глянул он на него и протянул дяде Чередникову. Тот невозмутимо взял кисет, набил из него маленькую самодельную трубочку, выпустил несколько колец дыма, аккуратно завязал кисет бечевкой и положил в карман.

— Хоть знаю — жалеешь, а не отдам, чтоб больше со старым солдатом Чередниковым Николаем пустых споров не было. Чтоб яйцо курицу не учило. Понятно это вам, гвардии боец, дорогой товарищ Уткин?

А с кисетом этим была связана целая история, и историю эту все в роте знали. Получив его в подарок вместе с табачком, нашел в нем Валентин Уткин записочку: дескать, кури себе, боец, на здоровье да меня вспоминай или что-то такое в этом роде, и подпись, и адресок: город Калинин, ткацкая фабрика «Пролетарка». И из этого кисета к тому времени выросла не только мощная переписка, а, можно сказать, целая любовь. Поэтому все в роте удивились, как это дядя Чередников, человек душевный, справедливый, коммунист, готовый, если надо, для товарища половину своего солдатского мешка разгрузить, лишил общего любимца такой памяти. Но, как бы там ни было, спор этот еще больше поднял авторитет дяди Чередникова, и что бы с тех пор старый разведчик бойцам по делу ни говорил, никто уж оспаривать не решался. И даже сам капитан Кузьмин иной раз звал к себе дядю Чередникова на совет.

Разведчик! Вы, наверное, представляете его себе таким молодцеватым парнем, подвижным, быстрым, с энергичным лицом, с острыми глазами и обязательно с автоматом на груди. А дядя Чередников, как

вы знаете, был уже в годах, высок, сутул, медлителен и не то чтобы неразговорчив,— просто он предпочитал слушать, а не рассказывать. Слушая же, он не выпускал изо рта маленькой кривой трубочки, которую сам смастерил перочинным ножом из нароста березы.

Автомата он тоже не носил и предпочитал ему обычную русскую трехлинейную винтовку. Тем не менее разведчик и снайпер он был по нашему фронту непревзойденный, с настоящим талантом следопыта, со своей особой хваткой, с лисьей хитростью и с неистощимой изобретательностью.

Колхозник-сибиряк, таежник, потомок многих поколений русских звероловов, он и к войне подходил со спокойным расчетом и деловитостью. Он и сам говаривал, что фашист, раз он к нам с оружием в дом влез, для него не человек, а зверь — и зверь лютый, кровожадней хорька, повреднее, чем волк. И он охотился за ним постоянно, неутомимо, заполняя этим не только многие боевые дни, но и редкие фронтовые досуги, когда роту отводили во второй эшелон на отдых.

Он не вел счета истребленным фашистам, как это делали в те дни другие бойцы, как не вел когда-то в тайге счета добытым им белкам. Но друзья его, разговорившись, давали честное гвардейское, что «нашелкал» дядя Чередников неприятеля близко к согне. Сам он — и, думается мне, без рисовки — значения этому большого не придавал: дескать, эка радость подшибить фрица-ротозея!

Однако, как охотник помнит убитых медведей, он запомнил трех уничтоженных им врагов: двух офицеров, которых он подстерег, лежа в нейтральной полосе, и снял во время командирской рекогносцировки, и одного, как он говорил, «страсть вредного» снайпера, подкараулившего нескольких наших бойцов и ранившего любимца роты разведчиков — пса Адольфуку, лохматую, голосистую дворнягу, бегавшую по переднему краю с трофейным Железным крестом на шее.

За этим снайпером дядя Чередников охотился недели две. Тот знал об этом и, в свою очередь, охотился за старым разведчиком. Как бы состязаясь в мастерстве, они сутки за сутками караулили друг друга. Чередников, получивший задание капитана во что бы то ни стало снять «вредного снайпера» и решивший, как говорится, воевать до победного конца, появлялся в те дни в роте, только чтобы забрать у старшины сухарей, консервов, табаку и наполнить фляжку спиртом, которым он спасался от лихих январских морозов. Он приходил похудевший, обросший, злой, с воспаленными глазами, с обкусанными кончиками усов, на

вопросы не отвечал и, подремав часок-другой в уголке землянки, уходил обратно на передовую.

Только к исходу второй недели удалось ему разглядеть снежную нору немецкого снайпера. Она была вырыта за трупом лошади, лежавшим тут с осени, безобразно раздутым и уже запорошенным снегом.

Дядя Чередников попробовал вызвать противника на бой выстрелом. Тот не ответил. Но с передовой противник открыл на выстрел такой огонь, что разведчик еле отлежался в своей норе.

Попробовал установить в леске чучело в каске и маскхалате. Хитрость не новая, однако и на нее попадали. Но «вредный снайпер» не клюнул. День пропал зря.

Тогда однажды в туманную ночь, перед рассветом, дядя Чередников протоптал следы к сосенке, одиноко стоявшей как раз напротив палой лошади, отряхнул с веток иней, посорил по снегу корой и едва заметно разложил за ней свой маскировочный халат. Все это замаскировал. От дерева он протянул белую нитку к своему настоящему убежищу, выкопанному в снегу, и дал все это заволочь инеем оседавшего утреннего тумана.

Когда совсем рассвело и поднялось солнце, он начал дергать нитку. С ветвей сосенки стал тихо осыпаться снег. Подергает и замрет. Подождет полчаса, подергает и опять замрет. Наконец в норе немецкого снайпера послышалось шевеление. Над бурым пузом лошади поднялось что-то более белое, чем снежный горизонт. Грянул выстрел. Он слился с выстрелом дяди Чередникова. И все стихло. Только снег осыпался с пробитой ветки сосны, возле которой ночью разведчик с такой тщательностью раскладывал и маскировал свой халат.

С тех пор «вредный снайпер» больше не досаждал нашим бойцам, и пес Адольфа, излеченный помаленьку заботами разведчиков, мог смело бегать по передовой, позвякивая своим Железным крестом, пренебрежительно поднимая ногу у пеньков и брустверов на самом виду у немцев.

Охотой за неприятелем дядя Чередников заполнял свои досуги, но настоящая-то военная специальность была у него — разведчик. Много наши разведчики придумали в Великую Отечественную войну разных хитростей, о них я рассказывать не стану. Дядя Чередников предпочитал разведку бесшумную, основанную на ловкости, на знании повадок врага, на умении маскироваться. Вдвоем со своим напарником, тем самым Валентином Уткиным, у которого он так безжалостно выпорил заветный

кисет, они, как ящерицы, проползали в неприятельское расположение и высматривали, что нужно. Иногда, когда это требовалось, снимали с поста холодным оружием зазевавшегося часового и всегда так же тихо, без выстрела, возвращались.

Для Чередникова разведка была даже не специальностью, а искусством. Он любил ее, как артист, и, как настоящий артист, охотно, терпеливо учил молодежь, прибывавшую из запасных полков. Но учил не словами. Он не любил слов. На местности показывал он молодым солдатам, как надо переползать, как войлоком обматывать сапоги, чтобы шаг был бесшумен, как по моховым наростам на дереве, по годовым кольцам на пнях определить, где юг, где север, как с помощью поясного ремня лазить на самые высокие голые сосны, как нюхательным табаком сбивать собак со следа, как в снегу уметь прятаться от холода, как по разнице между выстрелом и разрывом определить дальность вражеских позиций, а по тону выстрела — расположение стреляющей батареи, учил он и многому другому, необходимому в этом сложном военном ремесле. Он показывал молодым солдатам свой знаменитый в роте маскировочный плащ, который он сам обшил ветками и корой и в котором, как мы уже знаем, его действительно можно было не заметить даже в двух шагах.

— Фашист — зверь хитрый, пуганый, сторожкий, его надо с умом брать, а потому дело наше — самое из всех тихое, — говорил он молодым бойцам.

Сам он руководствовался этим же правилом и до того умело, что иной раз невольно и своих обманывал.

Раз по нем чуть не заплакала вся рота.

Приказал ему командир срочно взять «языка». Получены были агентурные данные, что противник здесь что-то затевает, и поступил сверху приказ для перекрытия этих данных добыть «языка» и как можно скорее. Дядя Чередников молча выслушал приказание. На вопрос: «Понял?» — рубанул по обычаю:

— Так точно, товарищ капитан.

Развернулся налево кругом, плаща своего знаменитого не забрал, а взял винтовку и пошел на передний край, никому не сказавшись и даже друга своего Валентина Уткина не предупредив.

Очень уж требовался «язык». Должно быть, поэтому, не дождавшись даже, пока стемнеет, дядя Чередников переполз рубеж обороны и, глубоко зарывшись в снег, стал двигаться к немецким окопам так ловко, что и свои, следившие за ним, скоро потеряли его из виду. Но шагах

в двадцати от неприятеля что-то с ним случилось. Он вдруг привстал. Слышали бойцы в секретях, как у немцев рвануло несколько автоматных очередей. Видели, как, широко вскинув руками, упал навзничь разведчик. И все стихло. В сгущавшихся сумерках на месте, где он упал, было видно неподвижное тело с нелепо поднятой рукой.

Немцы попробовали подползти к труп, но наши сейчас же открыли огонь и отогнали их.

Весть о том, что убит дядя Чередников, быстро дошла до роты. Прибежал Уткин в маскхалате, белый, как халат, взглянул на неподвижное тело с поднятой рукой и тут же полез через бруствер. Едва его удержали, да и не удержали бы, уполз бы за другом, может быть, себе на беду, если бы сам капитан не приказал ему вернуться и дожидаться темноты.

Весь вечер Уткин сидел с бойцами боевого охранения, тянул из фляги спирт, не таясь, ладонью стирал со щек слезы и все твердил:

— Ох, человек! Вот человек! Где вам понять, что это за человек за такой был дядя Чередников!..

Когда сгустилась тьма и запуржило в полях, капитан разрешил ему, наконец, ползти за телом друга. Уткин перемахнул через бруствер и, миновав заграждение, двинулся вперед. Он полз долго, осторожно, локтями опираясь о скользкий наст... Вдруг сквозь шелест летящего снега услышал он тяжелое, приглушенное дыхание. Кто-то полз ему навстречу. Уткин притаился, замер, тихо вытащил нож, ждет. И вдруг слышит знакомый, хриловатый шепот:

— Кто там? Не стреляй: свои. Пароль — «миномет». Чего притаился, думаешь, не слышу? Мелко плаваешь, сахарницу видно. Помогай тащить, ну!

Оказывается, дядя Чередников, понимая важность задания, решил на этот раз рискнуть. А расчет у него был такой: незаметно приблизиться к немецким окопам, нарочно дать себя обнаружить, упасть до выстрелов, притвориться мертвым и ждать, пока с темнотой кто-нибудь из немцев не направится за его телом. И вот на этого-то немца напасть и взять его.

— Я с ними третью войну дерусь. Повадки их мне известны. Нипочем им не стерпеть, чтоб труп не обшарить,— пояснил он потом товарищам...

После этого случая сам генерал, командир дивизии, которому Чередников очень угодил «языком», вручил ему сразу — за прошлые дела медаль «За отвагу», а за это — орден Красной Звезды.

Ох и праздник же был в роте! Хватив в этот день сверх положенной



фронтальной нормы, неразговорчивый Чередников расчувствовался, вернул Валентину Уткину заветный кисет с наказом не драть носа перед старым служивым, а потом принялся рассказывать товарищам, как совсем еще желторотым новобранцем участвовал он в брусиловском наступлении в 1916 году, как бежали под русскими ударами немцы по Галиции и как вызвался он, Чередников, с партией лазутчиков проникнуть во вражеский тыл. Собственноручно взял он тогда в плен, обезоружил и привел к своим австрийского капитана и получил за это свою первую боевую награду — Георгиевский крест. Рассказывал он еще, как бежали немцы от Красной Армии на Украине в 1918 году и как гнали их красные полки, наступая на пятки. С группой разведчиков ходил тогда Чередников к неприятелю в тыл. Они отбили у него штабные повозки, полковую кассу и автомашину с рождественскими подарками, захватили важные документы. И за это сам командир дивизии подарил Чередникову серебряные часы.

Старый разведчик вытащил из кармана эти большие толстые часы, на крышке которых были выгравированы две скрещенные винтовки и надпись: «За отменную храбрость, отвагу и усердие». Часы ходили по рукам, и когда они вернулись к хозяину, тот задумчиво посмотрел на циферблат.

— Ох и ходко сыпали они тогда от нас, ребята! Аллюром три креста, только глушители себе руками прикрывали... И теперь побегут, скоро побегут, уж вы верьте старому солдату. Потому — тогда мы были кто? Какие мы были? А теперь — кто? Какие мы теперь, я спрашиваю?.. Тогда-то до Берлина мы за ними не добежали, сил не хватило, а теперь, ребята, будьте ласковы, без того, чтобы трубку вот эту о какое-нибудь берлинское пожарище не раскурить, домой не вернусь. Может, думаете, хвастаю? Ну, попробуй скажи кто, что хвастаю.

И никто этого не сказал, хотя говорил это старый солдат, когда войска наши еще штурмовали Великие Луки и до Берлина было ох как далековато.

1943 г.

В заметном снегом прифронтовом овражке, огражденном от ветра и взоров неприятельских наблюдателей порослью невысокого лохматого сосняка, где наступающий батальон делал короткий привал, я стал свидетелем такой любопытной сцены. Три бойца-казаха, коренастые, широколицые парни в мешковато сидевших шинелях, примостившись поодаль от других у разлапистого корневища вывороченного снарядом дерева, варили на костре кашу из пшеничных концентратов.

Один внимательно следил за кипящим котелком, помешивая кашу можжевельным прутом, другой подкидывал в костер сухой валежник, а третий, уже немолодой, морщинистый, рябоватый, сидел на корневище, держа винтовку на коленях, и задумчиво смотрел в огонь, с сипением, треском и воем пожиривший сухие ветки.

И вдруг он начал тихонько покачиваться и завел резким фальцетом степную протяжную песню, звеневшую однообразно, как ветер в верхушках сосен.

Он пел все громче и громче, мерно раскачиваясь, пристукивая в такт ногтями по прикладу винтовки, закрывая глаза на высоких нотах.

— Знаете, о ком он поет? О майоре Малике Габдуллине. Вы о нем слышали? Герой Советского Союза, он на днях побывал тут у нас в батальоне,— пояснил лейтенант Климов, сухощавый, жилистый чело-

век, с обветренным, огрубевшим от зимнего загара, но все еще юношеским, живым лицом. Наклонив набок голову, он прислушивался к песне и постепенно начал переводить: — Он поет, что Малик-батыр силен, смел, хитер, как степной лис, что у него ухо джайрана и он слышит врага за много верст, что у него глаз беркута и он видит врага, как бы тот ни прятался, что его рука не устает убивать фашистских шакалов, и такая это рука, что чем крепче она их бьет, тем больше наливается она силой... Он поет, что от одного вида Малик-батыра противник обращается в бегство.

Песня журчала, как лесной ключ, тихая, чистая и, казалось, неиссякаемая. Как магнит, влекла она к себе бойцов и командиров — казахов. У костра уже стояла внимательная, задумчивая толпа, но солдат-джерши так увлекся своей песней, что никого не замечал. Круглое лицо его покрылось нервным румянцем. Порой он весь вытягивался, точно слушая что-то, что звучало в воздухе для него одного, и пересказывал это для всех. Песня увлекла даже нас, не понимавших слов, а казахи слушали с таким вниманием и были так ею поглощены, что не замечали, как уходит из котелка закипевшая каша, как шипит она в угольях затухающего костра, распространяя кругом сытный запах пригоревшего пшена.

— Он поет о том, как любят Малика казахские степи, как все отцы завидуют его отцу, как все матери чтят мать, родившую такого сына, как девушки видят его во сне и поют о нем песни. Он поет, что Малик ходит сейчас по окопам, неся слово партии, и что речь его понимают бойцы всех народов, потому что она проникает в душу. Он поет, что сам он видел Малика и слышал Малика и что Малик сказал им: если они будут хорошо воевать, то в родных степях о них сложат вечные песни, как поют сейчас о богатырях прошлого — Кобланды и Махамбете.

Песня оборвалась вдруг на высокой ноте. Певец смолк, усталый, смущенный.

Но еще не скоро рассеялось обаяние его импровизации, не сразу разошлась солдатская толпа, не сразу его товарищи, опомнившись, схватились за котелок спасать остатки выкипевшей каши.

— А вы знаете, мы ведь сейчас присутствовали при рождении нового эпоса,— взволнованно сказал лейтенант Климов. Застенчиво улыбаясь, он признался, что песня эта напомнила ему совсем недавние дни, когда он преподавал литературу в одной из алма-атинских школ, во время каникул разъезжал по степи, записывая такие песни. — Вот так и воз-

никает новый эпос Отечественной войны,— добавил он.— Вы майора Габдуллина не знаете?

Я знал Малика Габдуллина. Не раз приходилось встречаться с ним на фронтовых ночлегах, и от него самого и его товарищей мне была известна не содержащая, впрочем, ничего сказочного, но действительно интересная биография этого офицера.

Конечно, ни отец Малика, неграмотный колхозный скотовод Габдулла Элемесов, ни сам он, советский юноша, из пастуха выросший в доцента, в известного на своей родине фольклориста, опубликовавшего уже несколько работ, никогда и не думали, что сам он, Малик Габдуллин, при жизни станет героем казахской былины.

В момент объявления войны Малик был поглощен работой над кандидатской диссертацией. Она была уже готова. Его друзья по институту, литераторы и языковеды, одобрили ее. Оставалось только стилистически отшлифовать. Но в Алма-Ате начала формироваться коммунистическая дивизия. Лучшие люди города шли в нее добровольцами. Малик отложил любимую работу, в которую он вложил больше двух лет труда, явился в райком партии, попросил снять с него «бронь» и послать на фронт рядовым бойцом. Время было трудное, с ним не стали спорить. Молодой ученый получил форму, котелок, вещевой мешок и полуавтоматическую винтовку. Учили военному делу ускоренно: фронт требовал новых и новых резервов.

В разгар немецкого наступления на Москву Габдуллин в составе своей дивизии прямо с колес попал в бой, и глинистый мерзлый окоп, неумело и наспех отрытый на крутом берегу речки Рузы, стал для него первым курсом военной школы.

Рота, где Малик был политруком, растянулась повзводно по восточному берегу реки. Взвод, в котором ему пришлось заменить убитого командира, оборонял левый фланг. Приказ был получен категорический — не пускать немцев за речку, держаться любой ценой. Позади была Москва.

Первый бой, проведенный Маликом, был очень напряженным. Он продолжался весь день почти без перерыва. Рота противника, имевшая, по-видимому, столь же категорический приказ наступать, старалась перейти речку вброд на участке его взвода. Ее подпускали, давали солдатам втянуться в воду, потом поливали сверху пулеметным огнем, и черная, холодная, курившаяся парком осенняя река тихо уносила вместе с шелестящим «салом» тела врагов.

Так повторялось несколько раз. С каждой новой атакой Малик Габдуллин, до тех пор знавший войну только по книгам да кинофильмам, все уверенней чувствовал себя в необычной для него роли командира. Приказы его становились яснее, решительнее, тихий голос звучал требовательнее, жестче.

Вечером, уже в сумерках, отбив последние атаки и заставив остатки неприятельской роты убраться с гребня противоположного берега, он послал связного доложить командиру роты, что задание выполнено и он ждет приказа. Нервный подъем схлынул, Малик чувствовал большую усталость, настороженно и опасливо вглядывался в тьму. Не без удивления слышал он то, на что днем в сумятице не обращал внимания. Перестрелка, гулко раздававшаяся в тишине, шла почему-то у него за спиной. Он был еще неопытен и так и не понял, что это значит. Связной же до рассвета не вернулся.

Тогда Малик вызвал сержанта Коваленко, человека огромного роста, недавнего председателя одного из передовых в Казахстане колхозов. С ним Малик подружился еще в эшелоне и полюбил его за спокойный, рассудительный оптимизм.

— Максим Данилович,— сказал он, обращаясь к нему еще по-штатски.— Сходи, друг, на КП. Что они там спят? Ни связи, ни приказа. И узнай еще, что это там за стрельба такая у нас за спиной.

— Схожу, товарищ Габдуллин,— так же по-штатски ответил сержант.— Только, сдается мне, неважные дела у нас. Стрельба-то эта очень мне не нравится.

Часа через два Коваленко вернулся бледный, в изорванной шинели, с головы до ног перепачканный в глине, и молча протянул Малику окровавленный партийный билет. Тот с трудом раскрыл слипшиеся корки — это был билет командира роты. Немцы прорвались за реку и потеснили правофланговые взводы. Командир роты погиб, захваченный врасплох вражескими автоматчиками. Труп связного Коваленко видел на дороге.

Чтобы вернуться на позиции, сержант с километр полз в тумане по мерзлой пашне, пробираясь межой уже мимо немцев.

— Как быть, командир? — спросил он, грея над костром посиневшие и исцарапанные руки.

Вчерашний ученый еще не потерял привычки все тщательно анализировать. «Чем я располагаю сейчас?» — спросил он себя. Во взводе осталось сорок три бойца. Продукты, выданные на сутки, на исходе.

Люди докуривают последние крошки табаку, вытряхивая их из уголков карманов. Немцы зашли с тыла. Кто знает, далеко ли им удалось уже прорваться за речкой? Отходить? Но вчерашний бой против целой роты, бой, в котором только что брошенный в войну взвод вышел победителем! Минувший день уже сделал Малика военным человеком. Последний приказ, полученный им тридцать шесть часов назад, требовал держаться до последнего.

Приказ есть приказ.

— Строить круговую оборону, товарищ старший сержант,— ответил Малик другу тоном приказания.

И застучали ломы, заскрежетали лопатки о мерзлую глинистую землю.

Весь следующий день взвод сражался. Немцы подвели к берегу три машины с пехотой. Сидевший на сосне наблюдатель своевременно доложил об этом. Бронейщики, крепкие ребята из алма-атинских слесарей, пробравшись в тальник к самой воде, сумели зажечь машины на ходу, прежде чем те успели даже остановиться. Пулеметчики ударили по пехотинцам, прыгавшим из-под занимавшихся огнем брезентов. Это сошло гладко. Случай щадил пока необстрелянный взвод. Но скоро ему пришлось туго. Решив, очевидно, что они имеют дело не с горсткой людей, а с крупным подразделением, осевшим на приречных рубежах, немцы изменили тактику. Они сковали взвод редким огнем и оставили его в покое.

В то время как остатки немецкой роты перестреливались с людьми Малика, не давая им подняться из окопов, прижимая их к земле, другое подразделение перешло речку выше по течению.

Обнаружилось это внезапно. Послышался за спиной лязг гусениц, и Малик увидел танк. Танк незнакомых еще очертаний, с белым крестом, грузно колыхаясь, поплеывая на ходу снарядами, брел через поле, проламываясь сквозь кусты ольшаника и явно стремясь зайти в тыл позиций взвода. Его стальной тушей прикрывались автоматчики. Часть их сидела на броне, часть, ведя беглый огонь, бежала позади танка.

— Приготовить гранаты!.. По пехоте частый отсечный огонь! — едва успел скомандовать Малик, мучительно старавшийся вспомнить, что в таких случаях полагалось делать по боевому уставу пехоты.

Он взял винтовку из рук убитого красноармейца и сам по ходу сообщения, пригибаясь к земле, побежал туда, куда шел танк.

Но прежде чем слова команды были переданы по цепи, бойцы на правом фланге уже сами завязали перестрелку. Танк дошел до переднего

окопа, остановился и неуклюже завертелся над ним, стараясь, очевидно, раздавить людей, сидевших в узкой земляной щели. Это был тяжелый танк. Бронебойщики ударили по нему, но снаряды их с пронзительным визгом отскакивали от стального панциря, высекая снопы искр. Немецкие автоматчики стремились проскочить в глубь позиций.

На мгновение Малику показалось, что дело безнадежно, что стальная машина неуязвима и что ничто уже не может спасти положение. Он даже расстегнул кобуру пистолета.

Что же, он готов с честью умереть, сражаясь, как надлежит советскому человеку! Но в следующую минуту он убедился, что на войне не бывает безвыходных положений.

Из головного окопа, того самого, на котором, скрежеща гусеницами и чадя синим дымом, вертелся танк, на миг высунулся по пояс парторг роты Василий Кондратьевич Шашко.

Это было только мгновение, но Малик видел, как он, крича что-то, взмахнул рукой. Раздался взрыв. Тяжелая машина вскинулась в столбе огня и земли, остановилась, потом, поврежденная, но еще страшная своим огнем, дернулась вперед. Тогда из раздавленного окопа еще раз поднялась уже окровавленная голова Шашко. Он снова взмахнул рукой. Откуда-то из-за танка рванулся в небо черный столб. Взрыв встряхнул землю, и вдруг стальная машина вспыхнула, вспыхнула буйно, клочковатым, чадным пламенем, точно отлита она была из целлулоида, а не из стали.

— За товарища нашего, за парторга нашего, за Василия Шашко! По пехоте огонь! — крикнул Малик, снова и снова нажимая спусковой крючок своей винтовки.

Он стрелял, меняя обоймы и обливаясь потом, до тех пор, пока вражеские автоматчики, зацепившиеся было за передние окопы, не побежали прочь. Тогда Малик, забыв об опасности, выскочил из окопа.

Он не видел разрывов, не слышал злого чирканья пуль, ничего не слышал. Он поднял над головой винтовку, потрясая ею, и вдохновенно кричал:

— По отступающим! За Шашко! За Василия Кондратьевича! Огонь! Огонь! Огонь!

Его вдохновение передалось бойцам, они забыли усталость, страх и открыли такую стрельбу, как будто это были не остатки измученного, поредевшего взвода, а по крайней мере свежая рота.

Еще сутки продержался взвод Малика в окружении. Немцы, развивая успех, уходили от речки все дальше и дальше, выставив против горстки упорствующих людей небольшие заслоны. Солдаты доели сухари, курили древесный мох, достреливали последние обоймы. Во взводе осталось всего двадцать два бойца, а линия фронта отодвинулась на восток уже так, что звуки артиллерийской канонады едва доносились оттуда, как шум далеко идущего поезда. Держать позицию становилось бесцельным. Малик решил прорвать кольцо заслона и пробиваться к своей дивизии.

Ночью похоронили убитых, забрали их оружие и партийные билеты. Когда под утро морозный туман закутал неубранные, помятые войной поля, солдаты по одному выскользнули из вражеского кольца, точно растаяв в промозглом воздухе.

Вошли в лес, выстроились, сделали переключку. Малик, объявив, что будет пробиваться к своей дивизии, скомандовал «Вперед!» — и люди пошли на звук далекой канонады.

Три дня лесами, болотами, без дорог, ориентируясь по компасу и грому далеких пушек, вел Малик свой взвод. Солдаты, у которых четвертые сутки не было во рту и крошки, двигались, сохраняя боевой порядок, выбросив вперед разведку, выставив на фланги дозоры. Несли и катили пулеметы. На плащ-палатках, прикрепленных к палкам, по очереди несли раненых.

И к этому маленькому отряду, в котором командир суровой рукой сохранял дисциплину, стягивались и приставали, как железные опилки к куску намагниченной стали, бойцы и командиры отступивших частей, в одиночку выходившие из окружения.

На третий день пути в отряде Малика было уже сто восемьдесят семь бойцов при двенадцати станковых и двадцати ручных пулеметах с достаточным количеством боеприпасов, но без куска хлеба и без крошки табаку.

Теперь главным врагом становился голод. Идти с каждым маршем было все труднее. Людей шатало, они еле плелись, и колонна растягивалась по лесу длинным, жидким хвостом. На привалах бойцы бросались на мерзлую землю, и стоило огромных трудов поднять их потом. Все громче и чаще стали раздаваться голоса, что всем вместе такой массой не выбраться, что лучше рассыпаться и выбираться поодиночке на свой страх и риск, что надо оставить раненых где-нибудь в деревне и избавиться хотя бы от пулеметов, предварительно их испортив. Кое-кто, обессилев, стал потихоньку бросать оружие.

Малик скомандовал большой привал. В овраге созвал он коммунистов и комсомольцев. Он сообщил им свое решение: любыми средствами, не останавливаясь ни перед чем, сохранить отряд и идти вперед. Сильные по очереди должны вести ослабевших, нести их оружие, раненых тащить на руках. Коммунисты и комсомольцы обязаны подавать пример. Панников и дезорганизаторов обещал расстреливать на месте. Штатский человек был еще силен в нем — свое решение он поставил на голосование. Все руки поднялись «за».

Тогда Малик приказал коммунистам и комсомольцам к утру накипятить в котелках воды, отмыть походную грязь и копать костров, побриться, привести в порядок одежду, оружие.

На рассвете на лесной поляне, у стены сизых елей, был выстроен весь отряд. Малик скомандовал «Смирно!». Солдаты вытянулись и застыли. Но что это были за солдаты! В шинелях, разорванных и прожженных в дни лесных скитаний, с заросшими, закопченными у костров лицами, на которых из потемневших впадин лихорадочно сверкали глубоко запавшие глаза, они еле стояли на ногах. У некоторых подгибались колени, и они стояли пошатываясь, опираясь локтями о соседей. Но в этих измученных, усталых шеренгах своей энергией, своим подтянутым видом, умытыми, бритыми лицами выделялись сегодня коммунисты и комсомольцы, и среди них гигант Коваленко, ухитрившийся даже где-то разжиться ваксой и начистить свои кирзовые сапоги. Взгляд Малика на мгновение задержался на его больших, обутом в матово сверкавшие сапоги ногах, твердо стоящих на снегу, и ему стало вдруг весело.

— Мне сказали, что некоторые из вас думают, что надо отряд распустить и выбираться поодиночке. Может быть, верно, разойдемся? — Малик спросил, обводя усталые лица взглядом черных узких красивых глаз.

Солдаты смотрели на него удивленно, недоуменно, настороженно. Но на нескольких лицах он увидел сочувственное выражение, кое-кто подтверждая кивнул головой, а один из вновь приставших к отряду бойцов, совершенно заросший, в крестьянском треухе вместо пилотки, что-то радостно зашептал соседям.

— Говорите громче, ну? — приказал Малик.

— Я говорю: верно, лучше бы рассыпаться. Разве такой оравой фронт незаметно перейдешь?.. А поодиночке, говорю, верно, легче.

По рядам прошел шумок. Малик понял, что этот маленький, совер-

шенно потерявший военный облик за долгие дни скитаний по лесам солдат сказал то, что думали многие из тех, кто недавно пристал к отряду. Он стоял, зябко поеживаясь, и тихонько притопывал о землю разбитыми сапогами, на которых рыжела еще давняя грязь. Потом взгляд Малика снова притянули к себе матово сверкавшие сапоги сержанта Коваленко, его большие ноги, покойно и прочно стоявшие на снегу. Он заметил метлу, валящуюся возле. Должно быть, бойцы вчера разметали ею снег вокруг костра. И тут, думая о том, как ответить этому маленькому, измотанному скитаниями, дрожащему от холода бойцу, недавний фольклорист вспомнил старую сказку, существующую у всех народов. Он поднял эту метлу, вырвал из нее прут и, протянув его маленькому бойцу, приказал переломить. Тот удивленно глянул на командира: дескать, не рехнулся ли человек от голода, однако подчинился и легко сломал прут. Малик дал ему метлу:

— Ломай!

Метла гнулась, но не поддавалась.

— Ну, ну, еще! — командовал Малик. Хриплый смех измученных людей слышался со всех сторон. — Нажимай, нажимай, не жалея сил!

— Нажми! Наддай! Что, не важит? — кричали со всех сторон бойцы и поглядывали на командира, начиная понимать, к чему он клонит.

— Так вот и мы: пока вместе, пока у нас дисциплина, никакой враг нас не сломает, — пояснил Малик. И сурово добавил: — Первого же отбившегося от отряда расстреляю собственной рукой. Понятно? Стро-о-ойсь!

Вечером высланная разведка донесла, что на пути справа целая, не сожженная, но занятая противником деревня. Посланный в разведку Коваленко пропадал до темноты и, вернувшись, доложил, что в деревне, по всей видимости, расположился какой-то тыловой интендантский пункт — склады, на улице много проводов, что, хотя укрепления и не открыты, деревня сильно охраняется, караулы выставлены во всех направлениях, однако они довольно беспечны и больше греются у костров. Пробраться мимо них можно. В заключение рапорта сержант вынул из кармана бутылку молока, краюху хлеба и протянул командиру:

— Откушайте, вам достал. Женщины на дорогу снабдили. Ох и ждут же нас!

— Отдай раненым, — сказал Малик, склоняясь над картой и делая вид, что пища его мало интересует, хотя от кислого хлебного духа у него потянулась во рту слюна и закружило голову.



Он решил атаковать деревню и с боем добыть продовольствие.

В плане штурма, который он придумал за ночь, внезапность и хитрость должны были восполнить недостаток сил. Под утро, когда в лесу еще было темно и деревья едва начинали выступать из сурового холодного мрака, в час, когда человеческий сон особенно крепок, отряд, обложивший деревню, обрушил на нее сразу огонь всех своих пулеметов. Потом, едва отгремело в лесу эхо выстрелов, бойцы с четырех направлений с криками «ура» рванулись вперед, смяли заслоны и уже на улице, в коротком штыковом бою решили исход боя. Немцы бежали, оставив несколько десятков убитых, бросив своё добро, и немалое: продовольственные и оружейные склады; двадцать семь немцев сдались в плен. Малик приказал бойцам набить вещевые сумки продуктами и табаком, запас продовольствия погрузить на немецкие санки-лодочки, найденные на одном из складов, на санки же поставить и пулеметы, уложить раненых, а в санки впрячь пленных. Остальное облить бензином и поджечь.

Долго еще, пробираясь лесами, отряд видел позади дымные клубы, поднимавшиеся к облакам. На седьмой день похода, под вечер, сытые и прибодрившиеся бойцы из леса, с тыла, атаковали вражескую передовую, точно кинжалом пронзили фронт и почти без потерь прорвались как раз в расположение своей дивизии.

Отряд привез с собой на саночках-лодках двенадцать станковых и двадцать ручных пулеметов. Многие из бойцов были вооружены трофейными автоматами. Было вынесено шестнадцать раненых и сданы коменданту пленные.

Кроме этого, гигант Коваленко принес в свой полк четырехлетнего мальчика Вову, которого они с Маликом нашли по пути среди черных пожарищ сожженной деревни. Сироту решено было взять с собой. Его несли по очереди на закорках, а в опасные моменты оставляли в кустах на попечение раненых.

Так мальчуган этот совершил на плечах бойцов весь поход и был потом отправлен на попутной санитарной машине в Москву, где его сдали в детский дом.

Сам командир генерал Панфилов пожелал видеть Малика. В дни формирования дивизии, еще в Алма-Ате, он с сомнением опытного воина осматривал пришедшего к нему с путевкой райкома робкого шеголеватого ученого. Теперь хотел взглянуть, что из того получилось на войне. Хмурый генерал долго смотрел из-под сердитых бровей на тонкую фигуру

Малика, на котором еще не улеглась как следует военная форма. Потом неулыбчивое его лицо оживилось и подобрело.

— Ай да собиратель сказок! Вот тебе ученый муж! Молодец! Хорошим солдатом будешь! — сказал он своим глухим, точно из бочки гудевшим голосом, привлекая к себе Малика и троекратно, по-русски, целуя его.

Те, кто в эту минуту были подле них, рассказывали потом, что углядели они выражение настоящей отеческой радости на суровом, неприветливом лице легендарного теперь генерала.

Из этого — как в шутку называли его потом в дивизии — «голодного похода» молодой ученый вынес веру в себя, в своих солдат и в старую солдатскую истину, гласившую, что для отважного, умелого воина нет безвыходных положений, что, и отступая, можно побеждать. Этот вывод он проверил в следующем своем крупном испытании, когда уже в период наступления командир полка направил Малика с тринадцатью автоматчиками в засаду — охранять самое острое клина, глубоко врезавшееся во вражеские расположения. Здесь ожидали контратаки, а так как полк, потерявший немало людей в последних боях, как говорится, приводил себя в порядок, засада эта должна была прикрыть его от случайностей.

Ночью Малик повел свой крохотный отряд. Для засады он выбрал удобный рубеж в кустах на берегу замерзшего ручейка, напоминавший ему позиции у Рузы, где он принял первый бой. Послав в дозор солдата Абдуллу Керимова, он приказал оставшимся бойцам всю ночь без отдыха рыть по ручью глубокие щели и организовать огневые точки. Солдаты ворчали на командира, которому не терпелось до утра. Но на рассвете, когда, маскируя уже открытые ячейки, они присыпали брустверы снегом, прибежал Керимов и, с трудом переводя дыхание, сообщил, что пять танков и до роты пехоты скрытно движутся по ложине, приближаясь к месту, где засели люди Малика.

Пять танков и сотня людей против тринадцати автоматчиков. Такое соотношение могло смутить и бывалого командира. Но Малик уже знал, что на войне успех решают не арифметические соотношения. Спокойным, даже обыденным тоном он приказал готовиться к бою, огнем автоматов отсесть пехоту от танков, без его команды не стрелять, передним приготовить противотанковые гранаты.

Сам Малик для верности привязал к трем гранатам по бутылке с зажигательной смесью, считавшейся в те дни у бывалых солдат самым

верным противотанковым средством, и ползком пробрался в переднюю щель.

Танки остановились на опушке и пропустили пехоту. Не ожидая засады и полагая, вероятно, что они идут по ничейной земле, солдаты двигались толпой и пригибались лениво, больше для порядка. Малик приник подбородком к стылой земле бруствера и затаил дыхание. Немцы шли оглядываясь, но смотрели не в их сторону. Значит, они их не видели, не думали даже о них. Значит, надо подпустить как можно ближе. Чем громче грянут залпы, тем больше паники. Тем безопаснее, черт возьми!

Малик убеждал себя, но, вопреки этим доводам, ему хотелось дать команду стрелять немедленно, стрелять как можно скорее. «Выдержка, еще раз выдержка!» — убеждал он себя. Уже слышно, как скрипит под подошвами немцев талый снег. «Выдержка, спокойствие!»

— Давай огонь, пожалуйста, давай огонь! — горячо дыша, шепчет в ухо командиру лежащий рядом с ним связной Керимов, томясь от нетерпения.

Еще немного. Еще чуть-чуть. Дать им всем выйти из леска на поляну. Ударить по всем сразу! Передние уже в нескольких шагах... Вот так!

— Огонь!

Кто-то из наступавших дико вскрикнул. Они остановились. Затрещали короткие очереди. Несколько солдат упало. Остальные залегли и бьют по кустарнику.

Но это ничего, они лежат на снежной поляне. Их видно даже издали, как грачей на дороге.

— Огонь!

Автоматчики стреляют все энергичнее. Цель хорошо видна. «Не удержаться, не удержаться!» — убеждал себя Малик, страстно желая, чтобы скорее настал миг, когда немцы побегут. Число не пугает его. Солдат в окопе стоит десяти на открытой местности.

И вот противник не выдержал. На четвереньках солдаты ползут назад. «Еще, еще!»

Автоматчики нажимают. Рокот очередей сливается в сплошной треск. Снежные фонтанчики прыгают по поляне. Точно над белым озером идет крупный дождь. «Ага, бежите, сволочи!»

— Ура-а-а!

Немецкий офицер в шинели с меховым воротником там, у сосны, размахивает пистолетом. Должно быть, пытается их остановить. Малик

прижимается щекой к холодному прикладу винтовки затаив дыхание. Черная точка мушки блуждает около офицера. Так. Промазал. Но ничего, они бегут мимо офицера, они что-то кричат, показывая назад на кусты. Что это? В лесу строчат пулеметы. Чьи? Неужели наши? Ага, это немецкие заградители. Вот оно что! Малик уже слышал, что у немцев появились части, которые стреляют по своим, когда те, не выполняя приказа, бегут.

«Ничего, ничего, спокойствие!»

Очутившись между двумя огнями, солдаты в длинных зеленых шинелях повернули и снова наступают. У них нет выхода. Напористо идут, передвигаются короткими перебежками.

«Только бы мои не дрогнули! Только бы не вышли из окопов! — думает Малик. — Только бы не дать понять, сколько нас тут!» Пули чирикают, как птицы, сбивая ветки, стряхивая иней. И почему-то бросается в глаза, что остроносые желтогрудые синички, бесстрашно цвикая, суетятся в кустах. Им нет дела до боя.

Уже выбыл из строя зубоскал Гайсин, всегда имевший в запасе для друзей пару соленых шуток. Уже не стало хладнокровного добряка Куцевого, которого Малик помнил еще по эшелону. Упал на бок связной Керимов, упал, но тотчас же грудью лег на бруствер и опять взялся за автомат. Девять оставшихся держатся. И автоматы рокочут в кустах упрямо, деловито, и трудно понять, сколько их — десять... пятнадцать... сто...

Малик, гибкий, быстрый, раскрасневшийся, сверкая черными узкими глазами, горящими от возбуждения, ползает от одного к другому.

— Держись, еще немножко держись! Сейчас побегут!

Каждый из его людей все время чувствует его с собой рядом, слышит, как упруго стрекочет автомат командира.

— Сейчас, сейчас побегут!

И действительно, они побежали. На этот раз молчали и пулеметы заградителей. Должно быть, и там, в чужом штабе, сочли дальнейшую атаку бесполезной. Но зеленая ракета распоролa белесый воздух. Что бы это значило? Ага, совсем рядом послышались хлопки. Минометная батарея! Мины с предохраняющим мяуканьем стали падать в кустах. Но не зря всю ночь трудились бойцы, долбя замерзший грунт. Они лежат теперь в узких щелях. Визжащие осколки косят над их головами кустарник, осыпают их прутьями, хвоей, мерзлой землей. Но они-то целы! Целы, черт возьми!

Минометы смолкли. Но нет тишины, слышится урчание моторов. Танки! Должно быть, те самые, о которых докладывал Керимов. Ну да, вот один высунулся из леса. Неужели их повернули назад, на помощь своим? Машины, тяжело воя, переваливают через край лощины.

Пять танков и рота пехоты против девяти бойцов и их командира! Отступать? Бежать? Нет, от танка не убежишь. Бежать — умереть.

Сражаться! Отбить танки! В этом шанс выжить, победить. Все это мгновенно пронеслось в мозгу Малика в то время, как он, волоча за собой сумку с гранатами и привязанными к ним бутылками, полз по снегу, наперез танкам.

Машины шли излюбленным немцами строем — углом вперед, и головная двигалась как раз туда, где за пеньком лежал Малик. На ходу танки эти вели огонь из пушек. Снаряды летели куда-то далеко через головы. «К чему это? Там же никого нет. Шумовые эффекты?» — подумал Малик в мгновение, когда вырывал гранату из сумки. И еще мелькнула мысль: «Они стали бояться».

Машина неслась прямо на него. Он уже различал каждую царапину на броне.

Отчетливо мелькнул в его сознании парторг Шашко, величественный и прекрасный в своем самоотверженном боевом вдохновении. В это мгновение машина с грохотом прошла мимо так близко, что отполированный трак чуть не отдал руку. Малик отскочил. Разогнувшись, как пружина, он привстал. Граната с привязанной бутылкой угодила в радиатор машины.

Взрывная волна толкнула Малика в грудь, отбросила в сторону, это спасло его от гусениц второй машины, повернувшей прямо на него. Он не потерял сознания, но бросать гранату было уже поздно, не было времени размахнуться. Тогда Малик почти подsunул ее под гусеницу и, отпрянув, прильнул к земле. Взрыв был так силен, что танк почти перевернуло на бок. Плюхнувшись назад, он остановился, и сразу же желтое, липкое, невысокое пламя побежало по его стальному боку, стало карабкаться к башне. Это вслед за гранатой делала свое дело бутылка.

Оглушенный Малик, ощущая, что все тело его покалывает, словно электрическим током, снова схватился за сумку. Но что это? Три машины затормозили, разворачиваются торопливо, толчками. Против кого? Против своих? Да нет же, они идут обратно. Они отступают! И когда это

дошло до сознания, Малик без сил упал на землю. Прикосновение к снегу привело его в себя. Двое бойцов, пластаясь по земле, волокли его в кусты.

— А мы думали, вас в лепешку! — говорил один из них, тот, на чьих плечах лежал Малик.

— Давай, давай неси, вон они опять рылом к нам повертывают, — торопил другой, помогая ему.

Очутившись в кустах, в окопчике, Малик сел. Все тело ныло, дрожало мелкой дрожью, острое покалывание становилось мучительным. Мокрое белье липло к лопаткам, связывало движения. Малик осмотрел, ощупал себя. Нет, не ранен, цел. Жадно проглотил комок снега. Как от загнанной лошади, от него поднимался парок.

Но, несмотря на боль от контузии, все в нем ликовало. Это он, он, человек, победил пять танков! Такую силищу! И опять перед глазами остро, отчетливо, точно живая, мелькнула фигура парторга Шашко.

— Товарищ командир, седайте в окопчик, опять палить начали, — предупредил его кто-то.

Танки, отойдя на приличную дистанцию, открыли огонь. Из леска снова принялась бить минометная батарея. В дисках у автоматчиков оставалось по пять — десять патронов. Ясно было: нужно отходить. Но путь к своим преграждали эти танки, стоявшие на опушке. Малик посмотрел на карту. Потом, для себя, решительно прочертил линию в сторону, противоположную от своих позиций, прямо в лес, на немецких минометчиков. Он рассчитал, что будет правильнее лесом сделать круг и в обход вернуться к своим.

Он знал, что солдаты беззаветно верят теперь ему, знал, что они выполнят любой его приказ.

На четвереньках проползли они по руслу замерзшего ручья до лесной опушки, до того самого места, где в кустах на удобных, аккуратных позициях, обливаясь потом, трудились неприятельские расчеты, посылая мину за миной в кусты, где теперь никого уже не было. По молчаливому сигналу Малика под шум выстрелов бойцы бросились на минометчиков, последними патронами расправились с ними, взяли их личное оружие, даже их документы и, испортив минометы, скрылись в лесу.

Лесом они сделали большой крюк по самой чаще и в расположение полка пришли уже спустя много времени. Когда Малик без доклада приподнял полог командирской землянки, командир полка подполковник Карпов и его комиссар Мухомедьяров, сидевшие за столом, оглянулись

и вдруг вскочили с табуреток. Они уставились на Малика, стоявшего в проходе в изорванном, окровавленном маскхалате, и на лицах их застыло удивление.

— Габдуллин? — тихо спросил наконец командир.

— Малик, родной! — бросился к нему комиссар, старый его алма-тинский товарищ.

— Я... Что вы удивляетесь, что с вами? Да скажите, что случилось? — спросил в свою очередь Малик.

Командир взял со стола бумажку, которую они, видимо, только что читали, и протянул ему: «В бою под деревней Ширяево героически погибли 13 бойцов-автоматчиков нашего полка, находившиеся в засаде во главе с политруком Габдуллиным Маликом. Как донес разведчик, они сражались до последнего дыхания. В неравном бою они уничтожили два немецких танка и 150 гитлеровцев». Бумажка была подписана командиром пятой роты Аникиным и отсеком комсомольского бюро полка Джеджибаевым.

— Что это значит? — спросил командир.

— Мы тут сидим и горюем,— добавил комиссар.

— Тут все правильно, кроме того, что мы погибли,— устало улыбнулся Малик, которого клонило в сон так, что он с трудом поднимал отяжелевшие веки.

— Побольше бы таких покойников,— не очень ловко сострил комиссар полка.

Он полез под топчан, порылся в чемодане и, достав со дна бутылку коньяку, бережно завернутую в новые портянки, поставил на стол.

— Как уезжали из Алма-Аты, жена дала на дорогу,— пояснил он.— Слово себе дал бутылку эту спрятать и выпить в день победы. Вот и таскал с тех пор. Разопьем, что ли, по такому случаю? За твое воскресение, Малик!

Сбывались слова генерала Панфилова, старого воина, знавшего толк в боевом искусстве. Ученый-фольклорист, кабинетный человек, на глазах вырастал в искусного командира. И хотя внешне он оставался прежним худощавым городским юношей с красивым смугловатым и тонким, точно выточенным из старой слоновой кости лицом, с узкими и длинными руками интеллигента, он стал выносливым и неприхотливым солдатом, суровым к себе, требовательным к подчиненным.

Он командовал уже ротой разведчиков. Когда роту эту после боевых дел отводили на отдых, он и тут не давал покоя своим людям. Ежедневно с утра до ночи он учил бойцов-казахов ходить на лыжах, сам вместе с ними овладевал этим чуждым для его народа и потому особенно трудно дававшимся ему искусством. Никудышный стрелок в начале войны, он в редкие дорогие минуты боевого отдыха, когда его товарищи командиры, попарившись в бане, отсыпались, уходил в лес и один часами учился целиться и стрелять, пока не научился первой пулей сбивать с ели шишку. Он был награжден уже орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени. Его разведчики славилась на всю армию. Их известность росла по мере наступления. Раненые, уезжавшие на отдых в родные края, письма бойцов панфиловской дивизии, посылаемые на родину, несли его славу из холодных калининских лесов в далекий Казахстан.

О нем говорили уже в колхозах. Старики сравнивали его с легендарными героями прежних дней. О нем сочиняли стихи. Сам того не подозревая, становился он героем степных народных песен, какие он когда-то собирал с такой любовью и старанием.

Зимой 1942 года его дивизия наступала в авангарде армии. Авангардом дивизии шел полк Карпова, а в боевом охранении полка двигались на лыжах разведчики Малика. Дивизия, прорвав вражеский фронт и огибая его, зашла в тыл неприятельским частям. Ей предстояло замкнуть кольцо окружения за спиной одного из крупных немецких соединений, упорно оборонявшегося в лесах. Острия клещей почти сошлись. Осталась узкая горловина. В центре ее, как замок, была сильно укрепленная деревня, в которой находился немецкий штаб. Нужно было взять эту деревню и зажать горловину.

На эту операцию решено было бросить первый батальон и роту разведчиков Габдуллина. Они должны были, сделав широкий обход по лесам и болотам, внезапно ударить по деревне, захватить ее в немецком тылу и держать до прихода основных сил дивизии. Люди Малика, закаленные долгими, утомительными тренировками, легко проделали трудный лесной переход. Малик дал отдохнуть отряду, потом созвал бойцов и приказал им сбросить вещевые мешки, освободиться от всего лишнего.

— Позавтракаем трофейными закусками,— сказал он.

К двенадцати вся рота сосредоточилась на опушке леса вблизи деревни. Малик посмотрел на часы. Атака была назначена на двенадцать

пятнадцать. Но батальона, с которым он должен был взаимодействовать, еще не было.

Уже давно был послан лучший лыжник для связи. Тянулись томительные минуты. Наконец лыжник вернулся и доложил, что батальон идет без лыж целиной, движется медленно, с трудом протаптывая путь в глубоком снегу, и будет, по-видимому, не раньше чем часа через три. Все было рассчитано на внезапность. Деревня была крепким орехом, окружена дзотами, закопанными в землю танками. В случае, если бы неприятель узнал о том, что ему грозит, и привел бы в действие всю мощь своей огневой системы, его трудно было бы опрокинуть даже силами дивизии.

Опыт учил Малика ценить в такой обстановке каждую минуту. И он решил атаковать деревню своими силами. Людей он разбил на четыре неравные группы. В одну собрал всех физически слабых и неопытных. Им были выданы все имевшиеся в роте диски, заряженные патронами и трассирующими пулями. Они должны были подобраться к деревне по лесу с направления, откуда немцы могли предполагать атаку. Им было приказано, устроившись поудобнее, ровно в час открыть по деревне частый огонь и вести его, постоянно меняя позиции. Тем временем две группы лыжников под командой старшего сержанта Тимонина и сержанта Монахова должны были, по возможности без выстрелов, подобраться к деревне с флангов и, прорвавшись во вражеские траншеи, захватить дзоты с тыла. Сам же Малик с основной атакующей группой решил ворваться в деревню и тут добивать врагов в домах и на улицах.

Этот план атаки значительного гарнизона, да еще сидящего за мощными укреплениями, силами одной роты кажется теперь чем-то совершенно невероятным. Но, как бы там ни было, этот план, выработанный командиром, крепко верящим в себя и своих людей, был в тот день разыгран, как по нотам. И когда, наконец, часа через два к месту схватки подоспел подтянувшийся батальон, автоматчики Малика уже заканчивали бой, выковыривая врагов из последних дзотов, вылавливая их на чердаках и в подвалах.

Малик сидел в разбитом гранатами доме немецкого штаба, читал захваченные документы, а один из его бойцов, бывший слесарь Ленинградского механического завода Мартынов, возился у двух несгораемых шкафов и, обливаясь потом, ругал упрямую немецкую технику. Впрочем, он все-таки вскрыл эти шкафы. В одном оказались дислокационная карта

района, важные штабные бумаги и много фальшивых советских денег. Другой был полон коробками с Железными крестами, предназначенными к отправке в части, окружение которых завершила рота разведчика Малика Габдуллина.

Так, от дела к делу, от боя к бою, продолжал воевать молодой ученый-фольклорист, сам вырастая в героя изустных легенд и песен своего народа. И когда слава его прошла по фронту, его, боевого командира, чуткого политработника, лингвиста, свободно владеющего русским, казахским, киргизским, узбекским, каракалпакским, татарским и немецким языками, назначили агитатором для работы с бойцами нерусских национальностей. И он стал ездить по частям, неся бойцам слово большевистской партии...

Должно быть, об одном из его недавних выступлений здесь, в батальоне, и спел только что солдат-джерши.

Мы молча сидели у потухшего костра. Последние угли погасли под пеплом. Стемнело. Холодные, острые звезды зажглись в бархате неба, кое-где тронутого багрянцем пожарищ. А песня все еще звучала, и не хотелось шевелиться, чтобы не спугнуть обаяние раздольной степной мелодии.

— Вот так и рождаются легенды,— тихо произнес лейтенант Климов, отвечая на какие-то свои мысли.

1943 г.

Пускали третью турбину гидроэлектростанции Кегум на широкой, раздольной реке Даугаве, катившей свои воды в низких травянистых берегах через поля и леса Латвии. Для маленькой советской республики завершение этой стройки было настоящим народным торжеством. Города и села прислали на него свои делегации. Съехалось республиканское начальство. Наступало самое торжественное мгновение. Инженер-латыш, высокий, костистый, с белесой головой и умным грубоватым крестьянским лицом, положил руку на рубильник, чтобы включить ток новой турбины в сеть. Огромным светлым залом овладела тишина, нарушаемая лишь напряженным пением машин и сухим тиканьем стенных часов.

В этот момент мне бросилось вдруг в глаза чье-то будничное, озабоченное лицо, показавшееся почему-то очень знакомым.

Невысокий человек в военной гимнастерке без погон, в стареньких армейских шароварах, заправленных в поношенные, но до блеска начищенные кирзовые сапоги, стоял поодаль от гостей и хозяев и, не то машинально, не то чтобы скрыть волнение, рукой обтирал и без того сияющий кожух новой машины.

Ну да, я где-то уже видел это сухое, угловатое лицо, некрасивое, но и не обыденное, изборожденное глубокими морщинами. Знакомо было не столько лицо, сколько руки этого человека, небольшие, но сильные,

с короткими подвижными пальцами, уверенные, искусные рабочие руки, вот и теперь, в момент наивысшего торжества строителей, что-то шарившие по блестящему металлическому кожуху. Где мы с ним встречались?

На аккуратно выглаженной гимнастерке среди других наград — ленточки двух орденов Славы. Значит, воевал солдатом. Черно-изумрудная ленточка за взятие Кенигсберга указывала, что воевал он в этих местах, стало быть, на Прибалтийском, а до этого, возможно, на Калининском фронте. Видимо, там и встречались. Но когда, где? С тех пор прошло уж немало лет.

Из-под кустистых русых бровей узенькие серые глаза его смотрели умно и остро. И эти глаза, их зоркий взгляд тоже были знакомы.

Я тихонько спросил у одного из строителей:

— Кто это?

Тот удивленно оглянулся:

— Не знаете? Это ж и есть Николай Харитонов, наш знатный человек, один из лучших бригадиров.

Николай Харитонов! И сразу вспомнилось тяжелое лето 1942 года. Проливные дожди, сковавшие на дорогах технику. Трудное наступление на Ржев. Упорные бои на окраине в военном городке, в массивных каменных домах поселка, которые противник превратил в настоящую крепость. Вспомнилось, что четыре таких дома, лежащие параллельными прямоугольниками по одну сторону шоссе, мы звали «полковник», потому что на плане напоминали они четыре «шпалы» полковничьих петлиц тех дней, а три дома по другую сторону шоссе по той же причине звали «подполковник». «Полковник» был тогда у немцев, «подполковник» — у нас. И тут, на маленьком пространстве, на одной-единственной короткой улице шли кровопролитнейшие бои большого напряжения.

Дрались не только за каждый дом или каждый блок — за каждую комнату в квартире, за каждую лестничную площадку. И в сводках из дивизии в штаб армии так и писали дневные итоги: «В результате ожесточенного боя на северном участке авиагородка заняты квартиры два и три в первом блоке, первой «шпалы полковника».

Вот в эти-то дни и прошла по всему Калининскому фронту слава сапера Николая Харитонова.

Говорили о нем всякие чудеса. В первый же день моего появления в авиагородке мне рассказали, что он ночью с толовыми шашками, надев

валенки, чтобы бесшумно ступать, тихий, как привидение, перебирался через дорогу из «подполковника» к «полковнику», так же бесшумно закладывал в каком-нибудь уголке кишевшего немцами дома сильный фугас, зажигал шнур и исчезал, точно таял в ночи. А потом, через положенное время, раздавался взрыв, пехотинцы бросались вперед, в пролом и, пока еще не осели облака дыма, пыли и штукатурки, пока оглушенные враги не пришли еще в себя, занимали несколько комнат или квартиру.

Так, расчищая фугасами путь пехоте, Николай Харитонов искусной рукой делал то, что на этом участке оказалось не под силу ни авиации, ни артиллерийским батареям. Тогда-то в подвале одной из «шпал подполковника» и увидел я впервые этого человека с некрасивым умным лицом, с неустанными, неутомимыми рабочими руками.

Саперы спали, сломленные усталостью, скованные тяжелым окопным сном. Из всех углов подвала неся разноголосый храп, наполнявший густыми звуками помещение. Воздух был такой, что пламя беспокойно дергалось и чадило на фитиле коптюшки, готовое вот-вот задохнуться и погаснуть.

У самой лампочки сидел невысокий худой солдат и что-то старательно выстругивал из чурки самодельным и, очевидно, очень острым ножом. К предложению написать о нем в «Правде» он отнесся несколько недоверчиво и рассказывать о себе вежливо отказался.

— Что обо мне писать,— сказал он, с поразительной ловкостью орудуя ножом, под которым дерево подавалось покорно, с мягким хрустом, точно это была не твердая слоистая ель, а тугая репа, только что вырванная с грядки.— Писать обо мне нечего, наше дело кротовое, земляное, бесшумное. Вот вы лучше о нашем снайпере Солодкове напишите, он, говорят, тридцать два фашиста срезал. Можно сказать, в одиночку — целый взвод. Вот это да. Иль о разведчике Бахарева. Тоже силен солдат. О нем вон в нашей дивизионной много интересного сообщают. А я что, я, может, за всю войну и двух обойм не расстрелял. Что ж обо мне писать?

И он оторвался от работы, довольным, прищуренным взглядом мастера посмотрел на чурку, из которой уже начинали вырисовываться контуры продолговатой деревянной ложки.

Так он о себе тогда ничего и не сказал. Зато товарищи его по роте рассказывали о нем охотно и много, и из этих рассказов возник тогда передо мной портрет Николая Харитонова.

Руки его всегда находили себе дело. Сидя у костра, на котором варилась каша, или слушая, как политбеседчик ефрейтор Капустин читал по вечерам вслух газету, Николай Харитонов всегда с чем-нибудь возился. То шинель зашивал редким солдатским стежком, то тихонько точил топор о гладкий, подобранный у дороги голыш, а то просто строгал большим самодельным складным ножом какую-нибудь чурку. И, глядишь, каша еще не поспела, ефрейтор Капустин еще до международного положения не добрался, а у него уж получилась из чурки весьма удобная деревянная ложка, мундштук, трубка, крышка к коптилке или какой-нибудь другой предмет, полезный в окопной жизни.

Много таких предметов, выстроганных старшим сержантом Николаем Харитоновым, гуляло по рукам бойцов в роте саперов, которой командовал тогда, как сейчас помню, капитан Грушин. И слыл сержант среди товарищей мастером на все руки, хладнокровным, расчетливым, отважным и умелым человеком. Ему капитан всегда поручал самые сложные задания, и Харитонов выполнял их сноровисто, аккуратно и всегда очень удачно.

Он был молчалив. Иной день бойцы не слышали от него и десяти слов, но в роте то и дело повторяли: вот Харитонов об этом то-то и то-то говорил, старший сержант наш советовал так-то и так-то сделать. И жизнь у него была прожитая такая же, простая, скромная и хорошая, как и он сам. Сын вятского печника, он с детства вместе с отцом бродил по стране и клал в деревнях немудрые русские печи. Он любил это дело и достиг в нем немало совершенства. Но когда начали строиться первые индустриальные гиганты, он вернул отцу инструмент, простился с ним и остался на Днепрострое. Своими масштабами Днепрострой захватил его воображение.

Сначала он был тачечником, потом землекопом, потом бетонщиком, а к концу стройки уже бригадиром арматурщиков. Ему, как человеку умелому, искусному, предлагали остаться эксплуатационником на электростанции, но он отказался. Его увлекал самый процесс строительства, и до самой войны он возводил на Днепре большие и малые заводы — отпрыски Днепро строя.

В каменных работах достиг он большого умения и был награжден медалью «За трудовую доблесть».

В первые дни войны Харитонов строил на подступах к Днепру бетонные укрепления. Строитель стал солдатом-сапером. Человек, с увлечением воздвигавший из кирпича и бетона величественные громады на

пользу людям, шел в последних рядах отступавших войск, взрывая за ними мосты, водокачки, электростанции, портя и минировав дороги.

Страшную для рабочего человека разрушительную работу сапер Харитонов делал с молчаливым ожесточением. И с каждым новым взорванным сооружением сердце его тяжелело, наливаясь ненавистью к тем, кто вынудил его уничтожать сооружения ума и рук человеческих, кто заставил строителя, поднявшегося на вершину трудовой славы, стать разрушителем им самим построенного.

Может быть, действительно за всю войну не расстрелял Харитонов и двух обойм, но ущерб, который нанесла врагу неукротимая ненависть этого замкнутого, молчаливого человека, можно было сравнить с работой артиллерийской батареи.

Главным оружием его на войне были смекалка, хитрость и хладнокровное мастерство. Друзья его рассказывали, как в первую зиму войны группу саперов направили во вражеский тыл минировать дорогу, по которой немецкие подкрепления шли и ехали к месту боя. Метельной ночью саперы проползли по руслу ручья, по снегу, несколько километров, таща на ляшках лотки с толом. Ожидая прорыва, немцы в шахматном порядке заминировали дорогу, отметив для себя минированные места табличками-вешками.

Саперы подползли к этой дороге. Скованный морозом снег звенел. Он был так гладко, так твердо укатан, что каждая свежая царапина, а не то что вновь заложенная мина, была бы на нем заметна. Как быть? Пока товарищи раздумывали, Николай Харитонов закатал рукава маскировочного халата, мягко ступая в валенках, вышел на дорогу и начал тоже в шахматном, но в обратном порядке переставлять немецкие таблички, тщательно затирая потом старые ямки от колышков.

На рассвете, уже сидя у своих в блиндаже боевого охранения за кружкой горячего чая, так как хмельного и на войне Харитонов в рот не брал, он криво улыбался, слушая отдаленные глухие взрывы, доносившиеся с немецкой стороны. Какой-то вражеский транспорт запутался в собственных ловушках, и машины рвались на своих же минах.

В другой раз ночью перед штурмом города Калинина, уже обложенного с трех сторон частями Красной Армии, Харитонova послали резать проволоку стационарных вражеских укреплений. Капитан предупредил, что местность перед проволокой густо заминирована по какому-то новому, еще не разгаданному способу и что несколько саперов из соседнего батальона уже погибло на непонятных ловушках.

Харитонов взял кусачки и пополз по следу одного из подорвавшихся. Он подобрался к проволоке и, прежде чем приступить к работе, долго осматривал место гибели товарища. Пятна черной гари явно обозначались под самой проволокой. Значит, секрет был связан с ней. Харитонов пополз вдоль проволоки и вдруг заметил, что у кольев от проволоки вниз идут неприметные, прозрачные, присыпанные снегом ниточки. Сапер подполз к одной из них, тихонько отгреб кругом нее снег, а потом стал плавить его своим дыханием, не трогая, не колебля ниточки.

Он знал, что эта нитка протянута к смерти. Он почти касался ее губами. Когда в снегу начала оттаивать воронка, он увидел, что на дне ее вырисовывается круглый металлический цилиндр. Хитрость была разгадана. Малейшее колебание проволоки ниточки передавали на чуткий взрыватель, и мина огромной силы, уничтожая неосторожного сапера и одновременно сметая все следы, которые могли бы привести к разгадке секрета, сигнализировала на передовые, что кто-то появился у укреплений.

Поняв, в чем дело, Харитонов сбросил полшубок и, отдавая себе ясный отчет в том, что может взлететь на воздух, стал осторожно действовать.

Капитан Грушин, сидя в передовой траншее, отсчитывал тягучие секунды и нетерпеливо поглядывал в темноту, туда, где исчез солдат. Давно прошел положенный час, а Харитонов не возвращался. Но и взрыва не было слышно. Значит, он жив. И капитан, ежась от холода, продолжал смотреть на часы. Наконец, уже перед рассветом, когда холодная мгла стала рассеиваться и сереть, послышалось тяжелое дыхание и захрустел снег.

Через снежный бруствер в траншею свалился Харитонов, весь исцарапанный, измученный, криво улыбающийся синим, окоченевшим ртом. Клацая зубами от холода, он доложил, что ходы прорезаны, и достал из кармана металлический цилиндр, похожий на коробку из-под кофе.

— Вот она. Надобно ребятам показать, двадцать восемь таких штук — с проволоки срезал. Хитрая работа, чуть проволоку кольхнешь — будь здоров. — Он небрежно бросил на снег разряженную, уже безвредную мину. Потом вытянулся и доложил: — Проходы прорезаны и обвешаны сосновыми лапками, товарищ капитан.

Потом, в свободный час, Харитонов долго корпел над принесенной миной. Он изучил ее механику и, разобрав ее на части, показал това-

ришам нехитрый, в конце концов, секрет немецкой новинки. Он научил их отыскивать соединительные нити и показал, как, оттянув нити вниз, ослабив их напряжение, чтобы не «беспокоить мину», можно безопасно разряжать «секретки» простым ножом.

Особенногодились способности Харитоновав дни весеннего наступления по талым дорогам и хлябям Калининщины. Отходя и все время стараясь вывести свои войска из-под удара авангардов наступающей Красной Армии, немцы двинули в дело всю свою весьма обширную технику минирования. Они усеивали «сюрпризами» дороги, тропинки, пороги изб, двери блиндажей, брошенные машины, орудия, продукты на оставленных складах, даже могильные кресты, даже трупы своих солдат.

Харитонов во главе саперов-разведчиков шел впереди одного из наступавших батальонов, обшаривая дороги миноискателями, зондируя их щупами и кошками, зорким глазом осматривая каждый предмет, лежавший на пути.

Молчаливый, сосредоточенный, он, не говоря ни слова, показывал товарищам на ящик с банками консервированного молока, перевязанный безобидной на вид бечевкой, протянутой, как он сказал, «прямо к смерти», на лежащие у порога блиндажа новые солдатские сапоги, в одном из которых таилась мина с чутким взрывателем.

Раз даже показал в отбитом городе на валявшийся в грязи полу-раскрытый томик пушкинских стихов, корешок которого был хитро присоединен к зарытому в землю фугасу.

— Ишь, что подкинули, подлецы: знают, что книгу любим. Да врешь, нас не перехитришь, ученые,— сказал он. На глазах у шарачнувшихся по сторонам товарищей он лезвием безопасной бритвы перерезал нитку, соединяющую книжку со взрывателем, потом бережно отер рукавом грязь, приставшую к страницам, положил книжку в сумку противогаза и принялся не торопясь извлекать зарытую мину.

Уже под самым Ржевом совершил Николай Харитонов подвиг, утвердивший за ним славу не только в полку, но и в дивизии.

Тяжелый танк, ища брод через ручей, набрел гусеницей на заложенную в снег мощную противотанковую мину-тарелку. Он был остановлен регулировщиками, но поздно. Однако, по счастливой случайности, мина попала между шпор траков. Ее зажало недостаточно сильно, и она не взорвалась.

Каждое новое движение танка, малейшее шевеление корпуса самой

мины угрожало катастрофой. Вынуть же из-под гусениц мину, вмерзшую в слежавшийся весенний снег и землю, казалось невозможным.

Вот это-то дело и вызвался добровольно совершить Николай Харитонов. Он потребовал, чтобы все отошли подальше от танка, и начал действовать. Лег на землю, сбросил рукавицы и ногтями очень осторожно стал потихоньку выгребать из-под гусеницы крепкий снег. Пальцы его, чуткие и осторожные, как кошачья лапа, гибко скользили вокруг мины. Ощущая кожей холод металла, он не касался мины. Когда смерзшийся снег не поддавался, сапер наклонялся к самой мине и теплым дыханием размягчал его. Снег становился крупитчатым. Тогда Харитонов тихонько выскребывал щепотку, другую, третью и снова продолжал дышать. За час ему удавалось выбросить таким образом всего несколько оттаянных дыханием горстей снега и земли.

Был один из тех весенних остро морозных дней, какие вдруг выдаются в марте в лесистой части Калининской области. Дул крепкий сиверко. Шурша в вершинах сосен, он нес по полуобнаженным, пятнисто черневшим полям резкую крупку, набегающим валком сбрасывал ее под берег ручья, где Харитонов возился у танка.

Танковый экипаж, саперы и их командир, сидевшие поодаль у костра, измучились, ежесекундно ожидая рокового взрыва. Они промерзли до костей. Им было страшно даже думать, каково-то их товарищу лежать под метелью на ветру, щека в щеку со смертью.

— Харитонов, эй, командир приказывает погреться! Давай иди к костру! — кричали ему.

— Не могу, некогда! — несло с ручья.

Харитонов действительно не чувствовал холода. Он сбросил и подложил под себя шинель, скинул ремень гимнастерки. И все же ему было жарко, он обливался потом. Промокшая гимнастерка сверху заиндевела, льнула к телу. Сердце билось, как будто он поднимал невероятную тяжесть, дыхание перехватывало, перед глазамиплыли круги.

А он всего-навсего лежал ничком на земле и тихонько скреб ногтями. Пальцы сапера окостенели, их мучительно ломило. Когда руки совсем теряли чувствительность, он отогревал их под мышками, засовывал под рубаху, а потом опять окапывал снег у мины, кропотливо и упрямо. Так проработал он до сумерек. К ночи стало морознее, темное небо густо вывездило, копать стало труднее.

Его товарищи не вытерпели. Нарушив уговор, они пришли к нему



с котелком горячих щей, с флягой спирта, с куском заботливо отогретого на костре, пропахшего дымом хлеба.

Но он есть не стал. Он не мог есть. Кусок не пошел в горло. Все его силы, все его внимание были сосредоточены на этом проклятом красном блине, теперь уже почти подкопанном, лежавшем на каких-то столбиках мерзлой земли. Он не чувствовал ни голода, ни холода, ни усталости. Он глотнул только спирту, не почувствовав даже его вкуса, закусил хлебом и сейчас же сердито отогнал всех от танка.

Дождавшись, пока товарищи отошли, он снова лег на шинель и приник к мине.

Он проработал так четырнадцать часов. Уже стихла метель, облака затянули небо, пропали звезды, и лес зашумел протяжно, добродушно, по-весеннему тревожно и звонко, когда у костра увидели, что из-под горы медленно, шатаясь из стороны в сторону, поднимается человек в наброшенной на плечи шинели.

Харитонов нес за ручку разряженную мину-тарелку, бросил ее у костра, хрипло сказал танкистам:

— Заводи, можно.

И тут же упал без чувств на руки товарищей...

Много интересных историй рассказывали о нем саперы, сидя вокруг коптишки в подвале одного из домов «подполковника», под Ржевом. Сам же он во время этих рассказов сосредоточенно строгал, весь поглощенный работой, и, когда ложка была готова, обтер ее осколком стекла, пополировал о полу шинели, полюбовался и протянул мне:

— Возьмите на память. Пригодится... Все, что они тут рассказали, было, случилось. Всякий на свой манер воюет. Только чего об этом писать... Мне и самому-то надоело все взрывать, да разрушать, да уничтожать. По хорошей работе душа тоскует, руки чешутся. Верите ли, каждую ночь во сне то стену какую кладу, то бетон в формы заливаю, то арматуру вяжу. Поскорее бы уже весь фашизм рвануть к чертям да за настоящее дело взяться...

...И вот он стоит в этом просторном зале, полном солнечного света и тонкого пения работающих турбин, взволнованный, озабоченный, напряженный. Он прислушивается к ровному гудению новой машины, как мать к первому крику ребенка, и в его серых глазах, растроганно глядевших из-под русских кустистых бровей, большое, настоящее человеческое счастье.

В мгновение, когда запела последняя из трех вновь поставленных турбин на возрожденной из пепла станции, этот человек брал реванш за четыре года тягостной разрушительной работы, за тяжелые часы, что он пролежал рядом с миной у танка, за взрывы прекрасных жилых домов, именовавшихся на фронтовом жаргоне «шпалами полковника».

А сколько еще впереди работы для пытливого, неугомонного ума, для жилистых, умелых, не знающих устали рук, так стосковавшихся по настоящему делу!

1943--1947 гг.

В конце апреля 1945 года командир мотомеханизированного корпуса, штурмовавшего тогда с юго-запада уже окруженный, наполовину занятый нашими войсками Берлин, прислал за мной в штаб армии своего шофера с машиной. Тот отыскал меня в оперативном отделе и доложил, что «сам» приказал доставить меня в левофланговое «хозяйство» корпуса, дальше других пробившееся в этом секторе к центру вражеской столицы. В маленьком подвижном парне с угловатым, скуластым личиком, на котором так и бегали быстрые любопытные глаза, было что-то такое, за что весь штаб, вопреки фронтовым обычаям, игнорируя ефрейторские лычки, звал его по-домашнему — Мишей. Миша прикатил на огромном восьмицилиндровом ландо ядовито-яичного цвета и явно трофейного происхождения. Впрочем, к роскошной своей машине он относился с подчеркнутым пренебрежением и, как о верном друге, погибшем в бою, вспоминал о старенькой «эмочке», сожженной недавно каким-то «мессером» на переправе через Нейссе.

— Вот то была машина, товарищ подполковник! — вздохнул он. — Помните, как я вас на ней по украинской грязюке у Корсуни-Шевченков-

ской возил?! Три года по фронтовым дорогам без капиталки выходила! А эта,— он пренебрежительно пнул сапогом шину своего ландо,— простого бензину и то не жрет, подавай ей высокооктановый. Ее бы под Корсунь, на те дороги,— поглядел бы я на нее.

Спихватившись, Миша вытянулся, козырнул и спросил, нельзя ли по пути подбросить людей из их корпуса, приезжавших в армию получать ордена. Испросив разрешения, он исчез за домом и тотчас же вернулся с двумя военными. Не только многочисленные награды, до ослепительности надраенные зубным порошком, не только гвардейские знаки и столбики красных и желтых нашивок за ранения, украшавшие новенькие, еще пахнувшие интендантским складом гимнастерки, но и весь их облик, какая-то свободная, ненарочитая подтянутость движений изобличали в них ветеранов.

— Сержант Трифон Лукьянович! — ловко беря под козырек, неторопливо пробасил статный, худощавый, белокурый красавец с той рокочущей интонацией, какая бывает у коренных белорусов.

— Ефрейтор Николай Тихомолов,— рубанул, звучно щелкая каблукми, другой, и круглое, подчеркнутое в его речи «о» сразу же выдало волгаря.

Решив после нескольких бессонных ночей подремать в дороге, я устроился поудобней в уголке на заднем сиденье, ефрейтор Тихомолов разместился рядом, сержант уселся с шофером, и сильная машина, сразу же набрав скорость, мягко приседа, понеслась на север, убаюкивая шурша шинами по асфальту.

За двумя шеренгами цветущих груш, обрамлявших дорогу, потекли однообразные, подстриженные немецкие пейзажи. Даже яркая весна не уничтожала их поразительного сходства с мазней старательного художника-ремесленника. Тягучее однообразие пейзажа вместе с напряженным шелестом шин и мягким покачиванием рессор навевало дрему. И стоило закрыть глаза, как густо напоенный теплом пробуждающейся земли воздух, стремительными волнами перекатывающийся через ветровое стекло, напоминал о других, привольных краях, о буйной и милой весне в родных полях и лесах, о золоте одуванчиков, щедро рассыпанном в молодой траве, о сверкающей зелени березовых рощ, о синеватых зубцах елового леса, о старом янтаре сосновых стволов, истекающих смолой среди молодой хвои, о необозримой зелени озимых и жирной, маслянистой черноте бесконечных колхозных пашен.

Сквозь сон слышал я, как Миша завел с ефрейтором-волгарем ле-

нивый дорожный разговор. Потолковали о фронтовых новостях, повздыхали о женах, осудили бесцельное немецкое цеплянье за камни разрушенного Берлина, ругнули союзников, подивились обилию красных перин в немецких домах, заговорили о самолетах с реактивными двигателями, брошенных в последние дни в бой немецким командованием, и решили, что дело это для Гитлера бесполезное — перед смертью не надышишься; чего упрямитесь: хенде хох — и баста.

— Эх, к сенокосу бы домой вернуться,— заговорил волгарь, напирая на «о».— Луга у нашего колхоза, я тебе скажу, Миша, и не оглядишь. Трава по пояс, ядреная, сочная, как огурец. Косу как следует отбить, да утром по росе — ж-ж-ж!.. ж-ж-ж!.. Как, сержант, думаешь: если с Берлином управимся, к сенокосу демобилизуют?

— Мне не к спеху,— неохотно прогудел Лукьянович, не принимавший участия в беседе.

— Ордена-то за что, сержант, получали? — спросил Миша, не любивший молчаливых спутников.

— Так, пустяки ...— с явной неохотой ответил тот.

— Ничего себе «пустяки»! Боевое Красное Знамя кое за что не дадут. Ишь, и не в части, а в штабе армии вручали. Чем отличились?

— Спит подполковник-то? — спросил осторожно волгарь и, наклонившись к переднему сиденью, зашептал: — Нет, верно, землячок, мы с ним считаем, что не по заслугам нам такой большой орден отвалили. Вот гляди — это Красная Звезда. За что она у меня? За Сталинград. Этот вот орден Славы за что? За Днепр. Опять же вот этот орден второй степени за что? За Сандомирский плацдарм на Висле. Мы там на крохотном пятачке двое суток держались. Достоин я за это отличия? Достоин. Еще считаю, что поскупился бригадный. Он у нас насчет награды малость жиловат. А это, на-ко, такой орденище — и за что? За немецкого генерала...

— За генерала? Это как же?

По тону вопроса я понял, что Миша даже подскочил на сиденье.

Разговор становился интересным, сон рассеялся. Потребовалось усилие воли, чтобы не открыть глаза.

— А вот так: взяли мы, значит, с сержантом в плен одного их генерала, да не какого-нибудь завалящего, а большого — на наш счет, генерал-лейтенанта... Да не жми ты на газ, меня мутить начинает, еще чокнемся с кем. Берлин без нас брать будут... А насчет генерала этого слушай... Как бригада наша на Нейссе выскочила, слышал? Ну вот. На

реке мы обосновались, плацдармик за рекой захватили, зацепились — и стоп, нет снарядов. А пехота еще не подошла. Сзади разбитые немецкие части где-то там по лесам болтаются, — как говорится, слоеный пирог. Ну, начбоепитания и вызывает нас с сержантом. Садитесь, дружки, на мотоцикл, дуйте во второй эшелон — и чтоб разбиться, а снаряды к вечеру были. Ну, мы, конечно: «Есть!» Сели в мотоцикл и — р-р-р! Только пыль столбом. Едем лесом; он машину ведет, я в коляске у пулемета по сторонам гляжу. И вдруг почудилось нам: возле дороги что-то большое, вроде медведь, в кусты шарахнулось. Стоп машина. Я пулемет на кусты, сержант за автомат: «Кто там? Хенде хох, вылезай, стрелять будем!» И вдруг, гутен морген, лезут из кустов три фрица — двое офицеры, а один цивильный, весь такой помятый, седой, шерстью зарос. Ну, мы их обыскали, пистолетишки отобрали. Что ж нам, думаем, с вами делать? Свалились вы на нашу голову. У нас боевое задание первойей важности, а тут — на... И лес, и кругом никого нет. Ладно. Вот он, сержант, и говорит: «Лучше б этих субчиков в плен не брать, да не положено, раз сами сдались». И говорит мне еще: «Тихомолов, веди их до первой воинской части, а я, говорит, буду следовать по пути маршрута». Так, сержант?

Тот не отозвался. Он сидел молчаливый, безучастный, весь поглощенный какой-то своей, невеселой, должно быть, думой.

— Так мы и сделали. Поехал он по пути маршрута, а я пленных назад повел. Иду и думаю: «Не иначе, подлецы, из окружения выби- рались. Офицеры. А ну, дернут они у меня в разные стороны, лови их по лесу. Как быть? За них ответишь». Вот я и надумал: ремни с них снял да на штанах и подштанниках пуговицы им пообрезал. Расчет точный: руки у них теперь заняты, и бежать им в таком виде невозможно: с первого же шага запутаешься. Так вот, когда я пуговицы-то обрезать им стал, старичонка этот цивильный вдруг как осерчает, как залопочет что-то, и офицеры тоже всполошились. В него пальцем тычут: «Генерал, генерал», — говорят. А я им вежливенько, как полагается, отвечаю по- немецки: «Нихт, он ист цивиль, без знаков различия, — стало быть, держи штаны руками». А потом: «Комен зи, господа офицеры, дорога прямая...» И без всяких приключений довел я их до самой нашей бригады. Сдал коменданту, сказал ауфидерзейн и думать о них забыл: мало ли их сейчас по лесам шляется. Вечером и он вот, сержант, со снарядами прибыл. Все хорошо: боевое приказание выполнено. Вдруг — бац, посыльный из корпуса. Сам генерал, твой хозяин, к себе требует. «Спасибо, говорит,

за службу. Знаете, кого вы поймали?» — «Никак нет, говорим, товарищ генерал, не знаем». — «Вы, говорит, поймали большого их начальника». Вот и все. Должно, здорово этот немецкий генерал одичал, по лесам-то шатаясь, рожа — что щетка платяная, а уж грязи! Под рубаху залезает пятерней — и скребет, и скребет... Довоевался, голубчик! И за такого — на вот, орден, да какой!

— Что положено по приказу, то и дали, — политично ответил Миша, заметив, что я проснулся; он все косился на своего соседа, но тот по-прежнему безучастно смотрел куда-то перед собой. Должно быть, Мишу так и подмывало разговорить молчальника.

— А вы откуда, товарищ сержант, сами будете?

— Был минский.

— Это почему ж «был»? Семья-то где в данный момент проживает? Есть семья? Женаты?

— Был женат.

— А-а-а, — неопределенно протянул Миша. — А дети? Имеются?

— И дети были... — Сержант отвернулся, явно показывая, что не желает разговаривать.

Но не так-то было легко отвязаться от Миши. Помолчав, он зашел с другого конца:

— Сам-то городской аль из колхоза?

— Городской.

— А откуда рождением?

— Из Репичей, была такая деревня под Минском... Ведь все равно не знаешь, что без толку спрашивать?!

— А родители-то живы?

— Никого у меня нет, ни родных, ни домашнего адреса, понял?

— Понял, — вздохнул Миша.

Шоссе оборвалось у взорванного виадука. Дорога свернула в сторону, пошла в объезд полей и уперлась в длинную пробку. Миша попытался обойти ее стороной, но шустрая регулировщица остановила его маневрением красного флажка. Ни уверения Миши, что без нас Берлин взять невозможно, ни комплименты на счет ее румяных щек не сломили ее упорства: она пускала машины только в один ряд, по очереди с той и другой стороны.

— Ну что ж, будем загорать, раз такое дело, — сказал Миша и первым вылез на истоптанную траву.

Деловитый сержант, поправив пилотку, сейчас же отправился вперед

помогать «расшивать» пробку. Как только он отошел, волгарь накинулся на Мишу:

— Что ты его мучаешь, чего душу из него тянешь? Ведь верно — один он остался, весь его род фашист порешил. Знаешь, как он переживает?

И он рассказал о трагической судьбе его друга, с которым вместе воевал в одной роте от самого Сталинграда. На переправе через Прут сержант был тяжело ранен. Его признали негодным к строю и отпустили на родину. Добрался до Минска, где до войны работал слесарем на радиозаводе. Своего завода он не нашел. На месте домика, где жили его жена и трое детей, увидел он огромную воронку, густо поросшую крапивой и лопухом. Соседи рассказали, что бомба похоронила его семью в момент, когда та укладывалась, готовясь к эвакуации.

Рассеянно посмотрев на уток, плескавшихся в мутной зеленой воде на дне воронки, на одичавший вишенник, на заросший бурьяном огород, ничего не сказав соседям, солдат повернулся и, не оглядываясь, пошел прочь. Он вышел на витебский тракт и с попутной машиной доехал до поворота дороги, с которого открывался вид на родную деревню.

Машина ушла, оставляя в воздухе пыльный хвост, а он стоял на дороге, ничего не понимая, беспомощно оглядываясь по сторонам.

Отсюда, от верстового камня, открывался когда-то вид на веселую деревеньку, россыпью изб раскинувшуюся по берегам маленькой тихой речки, утопавшую в пышной зелени раkit. Камень по-прежнему торчал у дороги, и луга зеленели, и речка поблескивала среди них, — а деревни не было.

Там, где глаз привык ее видеть, поднимались невысокие, заросшие бурьяном холмы; вместо кудрявых ветел, хранивших когда-то перед окнами прохладную тень, торчали обгорелые пни.

На берегу речки вилось несколько дымков. По заросшей тропинке солдат добрался до них. От оборванного старика, вылезшего из землянки, выдолбленной в речном берегу, узнал он, что немецкие каратели два года назад сожгли деревню. Всех оказавшихся на месте жителей — среди них его стариков и младшую сестру — расстреляли. И опять ничего не сказал солдат. Он взял на пожарище горсть опаленной земли, завернул в носовой платок и, шатаясь, ушел прочь. Дошел до станции, добрался до своей части, переформировывавшейся тогда в тылу, и умолил командира бригады пренебречь его демобилизацией и зачислить обратно в роту...

— ...Воевал здорово, будто все зажило у него вместе с раной. Только вот когда почтарь с письмами приходил, норовил он от людей куда-нибудь уйти... Воевал лихо. Как где опасное дело, кто впереди? Сержант Лукьянович. А вот как война на исход пошла, задумываться начал,— закончил свой рассказ ефрейтор. И добавил для Миши: — Так что ты, друг ситный, не бреди ему рану-то.

Между тем настала наша очередь двигаться, мы сели в свое великолепное ландо, ярким пятном желтевшее в длинной очереди военных грузовиков. У выезда на шоссе к нам молча подсел сержант. Так вот отчего так хмуро его крупное худощавое лицо, вот почему он отворачивается, когда видит печальные вереницы штатских немцев, тянущиеся по обочинам, и какая-то злая жилка начинает дергать углы его век, когда встречаются длинные, медленно бредущие колонны военнопленных, устало сверкающих белками глаз из-под зеленоватой маски пыли...

К Берлину движение на дорогах становилось гуще и наконец уплотнилось в несколько сплошных колонн, на разных скоростях двигавшихся в одном направлении. Чтобы вырваться из густого пыльного облака, висевшего над автострадой, Миша свернул на большак, с большака на проселок, стараясь найти путь посвободнее. Но все дороги были забиты. Машина наша обгоняла артиллерию, танки, самоходки, открытые грузовики с загорелой веселой пехотой, противозвуковые части с огромными зачехленными прожекторами и звукоуловителями, пыльные шеренги мотоциклистов и конницу, такую странную в этом потоке стали и рычащих моторов, и снова танки, и снова огромные пушки, влекомые могучими тракторами.

Сбившиеся с ног регулировщики истекали потом на перекрестках. Поднятая колесами и гусеницами пыль плыла к небу такими густыми облаками, что солнце тонуло в них и стояло над Германией, как тусклый круг кроваво-багрового цвета. Бензиновая гарь пропитывала воздух, и уши начинали болеть от непрерывного рокота моторов.

Наконец у самого Берлина, где части останавливались и перегруппировывались, машине удалось вырваться из клубов пыли. Перемахнув по широкому виадуку бетонное кольцо Берлинерринг, она въехала в пригород. За чугунными литыми решетками, за зеленой стеной деревьев прятались особняки. Возле них во дворах стояли шеренги машин. Хлопотливо потрескивали движки походных раций, дымили походные кухни. Флаги с красными крестами свешивались с крылец самых роскошных вилл. Связисты тянули провода, обматывая их вокруг чугунных столбов

трамвая. Где-то тихонько попискивала гармошка, такая неожиданная, милая в этом чужом мрачном городе. Девушка — военный почтальон — в лихо заломленной на кудрявой голове пилотке торжественно шла с полной сумкой по улицам этого богатого и потому, вероятно, пощаженного американскими бомбардировщиками пригорода.

Но с каждым перекрестком картина становилась мрачнее. Исчезла зелень. Появились черные, местами уже поросшие травой, местами еще дымящиеся развалины. У станции метро теснились санитарные автомобили. Две девушки в окровавленных халатах вынесли из подземелья носилки, на которых, закрыв глаза, лежал солдат в мундире вражеской армии. Девушки ступали осторожно, стараясь шагать в ногу. Сержант неприязненно покосился на них.

— Точно молоко расплескать бояться. А моя б воля, дал бы я туда, в это метро, гранату, другую — и никакой возни.

— Не положено, сержант: раненый — он раненый и есть, — сказал Миша и помахал рукой пригожей санитарке. — Эй, курносая, много их там?

— Их там таскать не перетаскать, вся станция ранеными забита, — ответил за нее ефрейтор Тихомолов. — Они их туда позаносили и бросили, ни пищи, ни медицинской помощи. Некоторые уже давно померли, а лежат. Вонница! Это еще что, а в одном месте фашист в метро воду из реки пустил, затопить раненых хотел, чтоб они к нам не попали. Волки! Одно слово — волки!

На войне всегда лучше быть среди знакомых. Я решил, миновав корпус и бригаду, пробираться прямо в батальон, в котором служили мои случайные спутники.

Мы осторожно ехали меж бесформенных кирпичных холмов, по которым трудно было даже угадать бывшие очертания улицы. Из сохранившейся подворотни возник часовой и преградил дорогу. Дальше езды нет. Только пешком. Это уже позиции.

— Хозяйство все там же, где и вчера? — спросил сержант, обменявшись с часовым заветными словечками пароля и отзыва.

— Там же, дальше не пускает, уперся, огня много. Батальонного вчера вечером ранило, он...

— Пошли, — скомандовал сержант.

Мы прощаемся с Мишей, который, пятясь, уводит свое яичное ландо. Пробираясь от руины к руине, движемся меж каменных груд. Трудно даже представить, что это было когда-то улицей. Скорее всего это похоже на каменоломню, где добыча ведется открытым способом. Лишь какие-то

случайные штрихи: синяя табличка с надписью «Эйзенштрассе», сверкающая зелеными изразцами печка, прилепившаяся к уцелевшему куску стены где-то на уровне третьего этажа, ржавая швейная машинка, о которую мы все трое по очереди спотыкаемся, да странное обилие железных кроватей, высовывающихся из кирпичной трухи то там, то здесь,— напоминают, что тут жили люди. Звуки разрывов в теснинах руин становятся оглушительными, слышны пулеметная перестрелка и упрямые, как дробь отбойных молотков, автоматные очереди.

И вдруг штатские люди стоят у чудом сохранившейся стены дома. Небольшая очередь: какие-то старички, в старомодных скуртуках и мятых шляпах, худые, изможденные женщины с поджатыми губами, с грязными, бурыми лицами — и все с судочками, с мисочками, завернутыми в салфетки,— жмутся к закоптелой стене.

Сержант останавливается перед этой очередью, смотрит на нее тяжелым взором, от которого женщины и старики еще теснее жмутся к стене, потом резко поворачивается и исчезает в узком, темном проходе среди камней. Спускаемся в подземелье. Он идет впереди, освещая дорогу карманным фонариком. Мы движемся по подвалу, оплетенному змеями паровых и канализационных труб. Сзади слышится окающий шепот ефрейтора Тихомолова:

— Повар наш остатки ротного харча цивильным немцам раздает. Прикормил их, как воробьев, вот и являются эссен себе получать. Много их тут... Под развалинами, как кроты, живут. С детишками есть... Ну вот и дошли.

В маленькой каморке, служившей, должно быть, жилищем истопнику, — КП наступающего батальона. Капитан — такой молодой, с такими детски ясными глазами, что его маленькие усики кажутся приклеенными,— поднявшись из роскошного вольтеровского кресла, устало и грустно сообщает, что командир вчера ранен, а он, начальник штаба, исполняет его обязанности. Но речь заходит о военных делах, и капитан сразу оживляется. Их батальон действительно глубже других в этом секторе прорвался к центру Берлина. Но на перекрестке этой проклятой Эйзенштрассе напоролся на э эсовскую засаду и вот уже вторые сутки никак не может пробиться дальше. А артиллерии не дают, ее концентрируют для прорыва где-то южнее. Ему велено пока закрепиться и отбивать попытки противника прорваться из кольца на юг. Ведь только подумать: бездействуем в такое время! И хоть грудь капитана пестрит орденскими ленточками и нашивками за ранения, в голосе у него чуть не слезы. Но

вдруг в серых глазах его загораются озорные огоньки. Не сидеть же сложа руки, как сосед справа. Нет, черт возьми, он решил наступать без артиллерии. Вот только сгустятся сумерки, он покажет этим паршивым эсэсовцам! Он уже сосредоточил на флангах все свои пулеметы и минометы...

— Хотите глянуть на берлинскую передовую? Никаких биноклей, все видно простым глазом. В этом доме мы, дальше один разваленный — ничейный, а в следующем, в тридцати метрах, немцы.— Капитан подкручивает вверх тонкие усики.

Мы выходим из каморки. Стены подвала гудят от близкой и далекой канонады, но своды его крепки. В конце подвала видна ярко освещенная солнцем позиция. Частые пулеметные гнезда, удобно выложенные из кирпича, фигуры автоматчиков, распластавшихся за камнями. Потолок подвала здесь обрушен, люди находятся как бы в широкой кирпичной траншее. В правом углу этой траншеи толпятся солдаты. Они к чему-то прислушиваются, и на их лицах застыло выражение тревоги. Среди них мои спутники выделяются праздничной формой и ослепительно сверкающими регалиями.

— Что за митинг? — спрашивает капитан, старающийся придать голосу командирскую суровость.

— Ребенок там,— поясняет кто-то, неопределенно махнув рукой за стену укреплений.— Чу!

— Ребенок? Не может быть. Откуда?

— Разрешите доложить, товарищ капитан! — вытягиваясь, шагает вперед ефрейтор Тихомолов.— Обстоятельства следующие: снаряд он туда тяжелый бросил, должно, угодил в подвал, а там женщина какая-то сидела. Женщина как вскрикнет... ранило ее или убило — стихла она, а маленький, слышите, надрывается.

Сквозь гул и грохот уличных боев действительно доносился протяжный детский плач. Среди черных, дымящихся развалин, сотрясаемых взрывами и выстрелами, этот нежный, тонкий, захлебывающийся плач был самым страшным звуком, от которого мороз подирал по коже.

— Да, штука,— озадаченно отозвался капитан.— Надрывается... А спасти нельзя?

— Трудно, товарищ капитан,— говорит Тихомолов.— Он тут каждый камень на прицеле держит. Ребята попробовали для пробы пилотку на прикладе чуть-чуть из окопа высунуть. В двух местах ее пропорол, и приклад — в щепки.

Плач несется из самой середины «ничейной» развалины — беспомощный, безутешный, захлебывающийся. Этот жалобный, сиротливый звук не может заглушить никакая канонада.

Когда плач стихает — на лицах солдат появляется выражение госкливой безнадежности, когда возобновляется — все облегченно вздыхают.

— Эх, была не была! — говорит вдруг Тихомолов и, насунув на уши пилотку, идет к брустверу.

— Куда? У тебя у самого трое! — остановил его сержант Лукьянович.

Он вдруг сам метнулся к стене — ничего никому не сказав, перемахнул через бруствер и скрылся за ним.

Тихомолов рванулся вперед и остановился с таким видом, словно кто-то ударил его по голове. На немецкой позиции всполошенно хлестнуло несколько автоматных очередей, послышалась торопливая скороговорка пулемета.

— По нему бьют, негодяи, — прошептал капитан, бледнея. — Связной, пулеметчикам — огонь по всем амбразурам!.. Какие сволочи!

Капитан сорвал фуражку и осторожно, бочком выглянул из-за камня:

— Ловко ползет, даже мне не видно. Ага, молодец, уже близко! Связной, пулеметчикам открыть ураганный!

Теперь вся позиция точно трясется в нервной дрожи пулеметных очередей. Пули цвикают и с острым визгом рикошетят среди развалин.

— Дополз! — торжествующе вскрикнула девушка-санструктор, прибежавшая на звук перестрелки.

Сержант добрался до центра развалин. Ему удалось, должно быть, спрыгнуть в невидимый отсюда ходок. Теперь он в безопасности. Все облегченно вздохнули. Пулеметы смолкли и с той и с другой стороны. Настала страшная тишина, нарушаемая лишь звуками далекой канонады, и в тишине этой отчетливо слышалось, как детский плач начал постепенно переходить на нервные всхлипы и как успокаивающе бубнил мужской голос.

— Живы, — тяжело дыша, точно после быстрого бега, сказал Тихомолов. — До темноты пересидит там, выручим.

Весь батальон скопился у выхода из подвала. Подходили отдыхавшие, застегивая на ходу гимнастерки, проверяя затворы автоматов, узнавали, в чем дело, и вытягивали шеи, прислушиваясь к тихим звукам, несшимся с «ничейной» полосы. Все молчали, и только сестра завороженно шептала:

— Только б уцелел, только б уцелел!

Вдруг снова рванули немецкие пулеметы.

— Ребята, вылез,— крикнул откуда-то сверху наблюдатель,— несет!.. Эй, да ложись ты, ложись, чертушка!

— Лег. Неловко ему теперь ползти, видно его!

— Кабы один, а то с ребенком. Ох, подшибут...

— Связной, пулеметчикам — огонь по амбразурам, самый плотный.

Но уже и без этой команды все вновь затряслось, заклокотало от бешеной пулеметной стрельбы. Пространство над развалиной было вкривь и вкось пропорото, рассечено, прошито пулевыми трассами. Казалось просто невероятным, что в этой кипевшей свистами атмосфере может сохраниться что-то живое. Но сержант был жив. Он медленно полз, и наблюдатели сообщали:

— За глыбу засел, ребенка качает... Опять пошел, не терпится ему.

Опытным глазом бывалого воина сержант, должно быть, заранее рассчитал, что под прикрытием невысокой пологой кирпичной груды, возвышавшейся среди развалин, где-то у самой земли должна быть мертвая зона, недоступная вражеским пулеметам. Ползя туда, он удачно использовал ее. Но для этого он должен был, пластаясь по самой земле, двигаться, работая локтями, извиваясь, как гусеница. Теперь он был не один, живая ноша не давала ему прижаться к земле. Он полз боком, левой рукой прижимая к груди ребенка. Двигался он очень медленно. Пули, ударяясь о кирпичи и штукатурку, высекали красные и белые облачка у него над самой головой.

За ним следили с таким напряжением, что сквозь шум перестрелки каждый слышал, как бьется сердце. Он был уже около самого бруствера, и люди уже готовы были принять его и его ношу, как вдруг что-то случилось: сержант, точно натолкнувшись на невидимую преграду, замер.

— Убили! — вскрикнула девушка-санинструктор и, бросившись к стене, стала неумело карабкаться на нее, цепляясь ногтями за камни.

— Не высовываться! — рявкнул капитан.— Связной, пулеметчикам усилить огонь по амбразурам, командирам рот готовиться к атаке!

Но неожиданно высокая фигура поднялась над кирпичным бруствером, и в следующее мгновение сержант тяжело съехал в подвал. Минуту он стоял, покачиваясь и хрипло дыша. Он был зеленовато-бледен, в горле у него булькало и клокотало, казалось, он хочет и не может что-то сказать. У него на руках, прижимаясь головой к орденам и медалям, лежала белокурая худенькая девочка лет двух, с испуганными глазами.



ками линиялой небесной голубизны. Черное жирное пятно медленно расплывалось по парадной гимнастерке сержанта.

— Ранен я... примите девчонку,— чуть слышно произнес он наконец и, когда к ребенку протянулись солдатские руки, стал тихо оседать по стене.

А пулеметная дробь, достигнув наивысшего напряжения, сливалась в сплошной рев. Издали донесся хриплый голос:

— Первая рота, в атаку!

Где-то совсем рядом молодой голос пропел:

— Первый взвод, за мной!

Солдаты карабкались через бруствер, припадая к земле, бежали, ползли по руинам, иных пули уже пригвоздили к земле, иные залегли, но несколько ловких серых фигурок уже пластались у стены противоположного дома, возле немецких амбразур, и уже гремели взрывы гранат. От кислой пороховой гари саднило в горле.

— Пустите, пустите, и я... и я пойду...— раненый рвался из рук сестры, царапая бетон каблуками сапог и не находя опоры в ослабевших ногах.— Пустите, слышите, пустите! — жилистая загорелая рука его шарил кругом по полу, ища, должно быть, автомат.

А рядом, за спиной девушки-санинструктора, стояла белокурая девочка с распухшим заплаканным личиком, сосала кем-то сунутый ей второпях пыльный кусок сахара и удивленными, непонимающими глазами смотрела на высокого человека с яркими, красивыми медалями, который почему-то вдруг разучился ходить и беспомощно, как совсем маленький, рвался из рук круглолицей тети в смешном белом платье.

1945—1948 гг.

*Старому другу,
ветерану калининской сцены
В. М. Брянскому*

Клев прекратился, но летний вечер был так тих, так хорош, отблески заката так задумчиво багровели на потемневшей и точно бы загустевшей воде, а с соседнего луга так аппетитно потянуло терпкими запахами подсыхающего сена, что никому не хотелось уходить. Смотали удочки и улеглись на посеревшей от росы траве. Рыба судорожно всплескивала то в том, то в другом ведерке. Ленивая волна тихо пошлепывала о днище полувытащенной на берег лодки, и только этот мелодичный звук перебивал надсадное верещание кузнечиков.

В такой вечер хорошо думается. Должно быть, поэтому разговор и шел между рыболовами на темы отвлеченные.

Спорили о храбрости.

Маленький нервный человек с жесткими, точно проволочными волосами цвета воронова крыла, подмастер с текстильной фабрики, у которого даже тут, на рыбалке, на выцветшей гимнастерке пестрели ленточки орденов, настолько, впрочем, засаленные, что цвет их трудно было уже различить, уверял, что храбрость — это от рождения, и все принимался рассказывать действительно необычные боевые приключения какого-то своего приятеля-разведчика, о котором он повествовал с таким смаком, что собеседникам невольно думалось, не о нем ли самом и шла речь.

Другой рыболов, инженер с металлургического завода, человек грузный, малоподвижный, молчаливый, заявил, что думать так недиалектично, что храбрость — субстанция надстроечная и воспитывается она

средой. В подтверждение он рассказал, как в дни войны понадобилось вдруг срочно произвести ремонт еще не вполне остывшего мартена, как ремонтники в страхе остановились у разверстого жерла, из которого несло обжигающим жаром, и как один коммунист, обмотавшись мокрым брезентом, полез в печь и, начав там работать, примером своим увлек остальных, даже того, кто вначале больше всего возражал против такого невероятного способа.

Третий собеседник, черный как жук, с белками глаз кофейного оттенка и резким ястребиным профилем, точно бы отлитым из темной бронзы, сказал, что все дело случая. Бывает, когда и смелый мужик «трусает празднует», а когда и вовсе пустой человек храбрецом объявится. Похлопывая таловым прутом по голенищу сапога, он не без юмора вспомнил, как в позапрошлом году в их колхозе пожилая доярка, тетка сырая, рыхлая, боявшаяся лягушек и мышей, однажды, застав у телятника матерого волка, приняла его за собаку и так огрела подвернувшимся под руку ведром, что тот очумело вылетел из ворот и пустился наутек, разогнав по пути троих дюжих парней из плотничьей бригады...

— Ну, а вы что на сей счет скажете? — спросил инженер, обращаясь к четвертому рыболову, невысокому, крепко сбитому русоголовому человеку в кожаной летной куртке, в синих военных шароварах и болотных сапогах, что лежал, по-богатырски развалясь на спине, покусывая травинку, и, не вмешиваясь в беседу, следил, как в потемневшем небе одна за другой загораются колющие звезды.

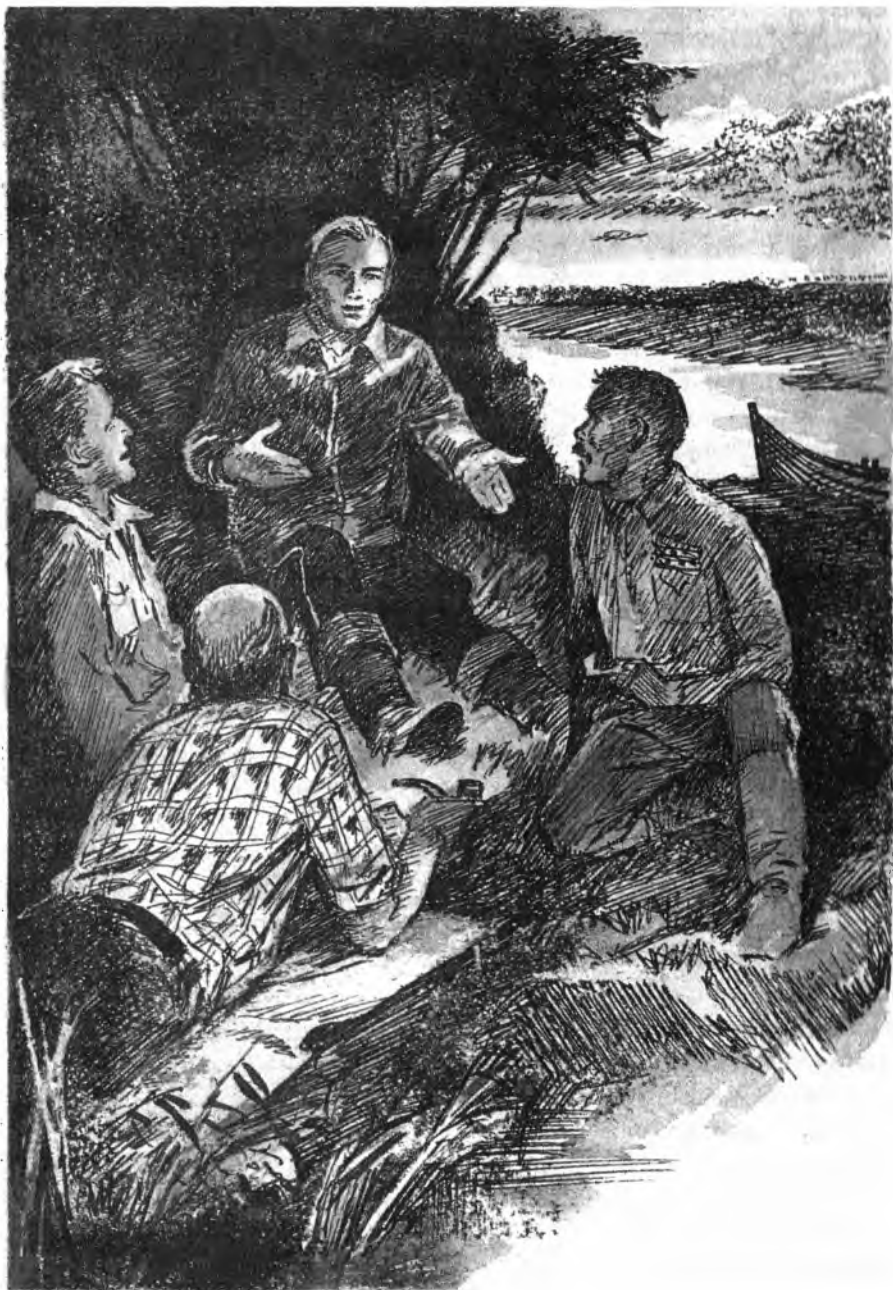
— Кто-кто, а уж вы, товарищ полковник, толк в этом знаете, — поддержал ткацкий подмастер с орденскими ленточками на гимнастерке.

В голосе его вдруг зазвучала та дружеская официальность, с какой демобилизованные ветераны обращаются по старой памяти к офицерам.

— Верно, Андрей Ликсеич. Уж сколько рыбы с вами переловлено, сколько ухи вместе съели, и хоть бы раз вы что о себе рассказали! Эдакий выдающийся, можно сказать, человек, памятник вам живому где-то стоит, и ничегошеньки мы о вас не знаем.

Человек, которого называли полковником, сел, скомкал и отбросил травинку, которую мгновение назад так безмятежно жевал. Чувствовалось, что уже много раз слышал он такие просьбы, что они ему неприятны — то ли по свойству характера, то ли потому, что отвечать на них ему давно уже надоело.

— Вон, вон звезда красноватая. Марс. Говорят, там живые существа есть и будто оттуда снаряд с атомным двигателем и пассажирами до



нас долетал... В Сибири упал. Тунгусский метеорит... А ведь черт его знает, может быть! Во всяком случае, забавная гипотеза.

Он явно уводил разговор в сторону. Но не тут-то было. Никто и не взглянул на бархатное небо, где сверкала красноватая звезда, с которой летят атомные снаряды. Друзья по рыбалке сидели вокруг полковника, и все трое смотрели на него такими требовательными глазами, что отнекиваться стало уже просто неприлично. Полковник нахмурился, раза два прочесал пятерней русые, торчащие в разные стороны волосы и, вздохнув, задумчиво начал, не изменяя и теперь своей обычной манеры говорить короткими фразами:

— Ладно. Теоретизировать не стану... Так, случай один расскажу. Любопытный. Мне и сейчас вот кажется: ничего более запоминающегося не видел за всю войну.

В воде, которая теперь совсем потемнела и над которой уже потянулись первые волокна тумана, всплеснула большая рыба. Полковник насторожился, в глазах мелькнул охотничий азарт, даже ноздри короткого, тупого носа раздулись.

— Шука! — почти вскрикнул он, напряженно глядя в воду.

— Пусть себе поживет, в другой раз выловим, — сказал колхозник. — А вы рассказывайте, рассказывайте, как у вас там все было.

— Не у меня. Я тогда был лейтенантом. Прямо из Качинской школы — и на фронт. На свой истребитель поглядывал, как на девушку, влюбленно-боязливо: хорош, а какой характер, черт его знает!.. Ну и, как водится, страшно храбрился, мечтая о подвигах, рвался в бой. А командир полка, как назло, до поры до времени выпускал нас, юнцов, лишь на барражирование. Мы считали его перестраховщиком. Бюрократом. Ненавидели его, как только могли. Ну как же: фашисты у Ржева, бои воздушные то здесь, то там, а он нас, как жеребят, гоняет на корде. Гуляем в воздухе, как в горсаду. Парочками. Словом, явный бюрократ, поклонник инструкций...

Однако я не об этом. Не о себе... Так вот, изнываем мы от тоски на аэродроме, и вдруг на исходе дня, за ужином, после того как была принята «наркомовская доза» и пришло время расходиться по палаткам, влетает в столовую мой друг Сашка Кравец. Такой же, как я, желторотый птенец. Влетает и кричит: «Ребята, тихо, потрясающая новость! Утром артисты прилетают. Из областного театра. В полдень будет концерт».

И верно. На следующий день комиссар полка вызывает к себе меня

и этого самого распотенного Сашку: встретить артистов, привезти их в балку. Весь народ, что будет свободен, туда созвать. И чтоб без гаму и беготни. Фронт-то — вон он, рукой подать, орудия целый день гудят, а в ясную ночь и пулеметы слышны.

Ну, мы с Сашкой, понятно, рады стараться! Грузовик, на котором горючее развозили, как кадку для огурцов, с хвощом вымыли. Для приличия обтянули плащ-палаткой. Чистые подворотнички себе подшили. Побрились два раза. Даже полевых цветов нарвали. Ей-богу! Ходим по аэродрому с букетами, как женихи какие. Народ потешаем и все на небо глядим: на восток. «По поручению командования части позвольте нам...» Ну и так далее.

Выезают. Девять душ. Ну, мы с Сашкой, как положено, артисток во все глаза разглядываем, расшаркиваемся, цветы, всякие хорошие слова... Молодость! Из артистов, признаться, рассмотрели только одного. Старик уж. Толстый. Лицо в красных жилках. Сизый нос. Длинная такая косица, где-то сбоку начинающаяся, довольно ловко в два заворота к лысине примазана. Еле я его из самолета вытащил: укачало беднягу. И такая досада! Пока я этого почтенного дядю на землю извлекал, пока водой его отпаивал, Сашка мой со всеми артистками в боевое взаимодействие вошел, натаскал откуда-то из палаток стульев, расставил в кузове, как в гостиной, рассадил их и разливаются соловьем о фронтовой жизни, о всяческих летных боевых делах, разливаются и на меня, подлец, поглядывает: как, мол, каков я?

Ну, а тем временем старикан мой немножечко отдышался, маскировочную косицу свою на лысине аккуратно разложил и от всего этого помолодел даже. Встал, отрекомендовался: такой-то, актер комедийного плана. Ну, сами понимаете, как только в кузове мы всех разместили, я об этом комедийном плане сразу и позабыл. Ну как же, судите сами, у Сашки шумный успех, такие «мертвые петли» и «штопоры» выкладывает, что артистки только жмурятся и ахают: «Ах, Александр Иванович, вы прелесть! Ох, товарищ лейтенант, как это безумно интересно...» Меня завидки берут... И вспомнил я об этом моем комедийном старикане, признаться, только когда он уже в костюме и гриме появился на сцене.

На сцене! Сейчас я вам скажу, какая это была сцена. Вот слушайте. Обстановочка следующая: на дне оврага, в кустах, грузовик. У одного из бортов на палках занавес из плащ-палаток. У занавеса Сашка Кравец сияет, будто его всего с ног до головы песком надраили. А на откосах оврага — зритель. Весь наш авиаполк. Все, кто свободен.

А до фронта — рукой подать. Беспечные мы, надо сказать, тогда были, первый месяц войны... Так вот, Сашка наш, уже прочно прикомандированный к искусству, объявляет, что будет показана сцена из комедии Островского «Лес». С одной стороны из-за плащ-палатки выходит здоровенный артистище с басом, как у нашего старшины, — Геннадий. С другой выскакивает этот самый комик. Сразу-то я его в гриме и не узнал. Преобразился совершенно. Где она, эта стариковская одышка, эта сипотца в голосе, этот рот, брызгающий слюной? Откуда что взялось! Подвижной, вертлявый как бес, хитрый, смешной, жалкий. Словом, Аркашка Счастливец. Сами знаете.

Как уж они там гримируются, это мне неизвестно, никогда в жизни за кулисы не ходил, только преобразился человек неузнаваемо. Рта не успел открыть, а по балке хохот... Так и пошло: тишина — хохот, тишина — хохот. На Геннадия, что как «ИЛ» на бреющем полете гудит, никто и не смотрит. Все только на комика. И так это он за несколько минут всех захватил, что как-то даже удивило нас, когда вдруг рядом в рельсу ударили: пост ВНОЗ. Воздух! Только тогда на небо взглянули — и замерли. На горизонте «Ю-87». Пикировщики. Колеса у них еще под брюхом не убирались, похоже было, будто ноги в лаптях торчат. Мы их «лаптежниками» звали. А под крыльями — сирены: когда идут в пике, режут. Для паники... Очень с ними, с этими «лаптежниками», в первые месяцы войны считались.

Так вот, звено «лаптежников» на нас и идет. Высота — километра два. Облачка, но день ясный. Признаюсь, первый раз их с земли-то вблизи видел, и такой обуял меня страх, что я окаменел. Точно судорога свела. Это сначала. А потом захотелось бежать. Куда, зачем — все равно, только бежать. Прячется. Закрывает руками голову. Словом, наделает кучу глупостей. Но прошу учесть: начало войны, и таких, как я, необстрелянных новичков в полку большинство. Не только обстреляться, но многие даже и загореть не успели. Ну, наступает страшная тишина, и в ней этакий вибрирующий рев: «У-у, у-у, у-у!» И сквозь этот рев доносятся слова комика. Ну, там рассказывает он Геннадия что-то. Смешные такие слова. И оттого, что они простые и смешные, их тоже страшно слышать, когда это «у-у» все нарастает, а самолеты почти над головой. Комик, должно быть, так увлекся, так в роль вошел, что ничего не замечает, как тетерев на току. И тут раздается голос комиссара:

«Слушать мою команду! Никто ни с места! Не шевелиться!»

Только тогда, должно быть, актеры и заметили опасность. Они за-

мерли в самых неподходящих позах. Глядят на небо. А «лаптежники» меж облаками плывут: появятся — скроются, появятся — скроются. И уже хорошо видны эти их пресловутые «лапти», желтые подкрылки, черные кресты. Снизу всегда кажется, будто самолет прямо на тебя летит, в тебя целит. И бежать такая охота, что все тело, точно крапивой обстреканное, зудит... Вы вот говорите, что храбрецами рождаются. А сами не испытывали такого? Ага, то-то вот... Я полагаю, дорогие товарищи, что нет человека, кто страха не знает. Разве больной какой. Или идиот... Так вот, страхом таким подстегнутые, сколько-то там человек с места срываются — и бежать.

«Продолжайте спектакль», — это комиссар просит.

И слышу я, как этот мой старый комик, тот, что своим фиолетовым носом да маскировочной косицей так меня удивил, этот больной, одышечный человек дрожащим голосом бросает какую-то реплику. Геннадий ему отвечает. Опять между ними завязывается разговор. Глазам не верю: играют! А между тем самолеты прошли, делают широкий разворот — и опять к нам. То ли ищут, то ли уж нашли и на рубеж атаки выходят. Я это понимаю. И другие, что вокруг сидят, понимают. Но почему-то теперь уже не так страшно. На сцене звучат человеческие слова. Спокойные, обычные. Трагические и смешные. Все замерли. Слушают. Бледные, на висках пот, но слушают. Вот уже кто-то засмеялся. Послышались аплодисменты. А тишина такая, что в овраге эхо отзывается.

А тем временем «лаптежники» развернулись — и на нас. Ищут? Заметили? На бомбежку пошли? Кто ж знает! Но на сцене Аркашка и Геннадий. Разговор. Игра. И какая игра! Может быть, конечно, мне так с перепугу показалось, но я и сейчас, спустя столько лет, уверен, что никогда еще не видел такой актерской игры, как в те минуты. В Малом бывал, в Художественном в прошлом году все постановки видел, а такой игры не помню... Да, да, да... Этот жалкий, смешной Аркашка и надутый, тоже смешной Геннадий точно сковали всех нас своей игрой. Бомбардировщики на нас идут, а мы, несколько сот людей, сидим неподвижно. Будто одеревенели. Будто загнипнотизировала нас не то эта самая игра, не то самоотверженность артистов, и мы смеялись, переживали, не меняя поз, аплодировали. Аплодировали под это проклятое, вибрирующее «у-у, у-у, у-у...».

Вот вы, товарищ инженер, говорили о влиянии среды на характер. Среда — это верно, конечно. Старая истина: с кем поведешься, от того и наберешься. Но ведь за эти несколько минут среда не изменилась.

Необстрелянный, зеленый полк остался таким же зеленым, необстрелянным. Но каждый из нас в эти мгновения точно бы обнаружил в себе какой-то непочатый запас храбрости, о котором он минуту назад и не догадывался. А почему? Вот вы и подумайте, почему...

Но продолжаю. Когда первый самолет, проревев сиренами, прошел над нами, артист, что изображал Аркашку, сделал жест, будто отмахивался от надоевшего комара. И так это вышло неожиданно и уморительно, что все покатались со смеху. Должно быть, поощренный этим, Аркашка повернулся в сторону двух других приближавшихся самолетов и захолопал в ладоши с сердитым видом хозяйки, отгоняющей ворон от куриного корма, и даже пропищал бабьим голосом: «Кыш, проклятые!»

Не остроумно! Может быть. Но в это мгновение нам всем показалось, что остроумней ничего и придумать нельзя. Видим, как на нас с ревом летят самолеты, и хохочем. Сотни хохочущих глоток! И не истерично, нет, а эдаким ядерным смехом, каким должны бы смеяться богатыри. Слов уже со сцены не слышно, но почему-то очень смешно было снова и снова видеть это мимическое «Кыш, проклятые!», видеть хладнокровного Аркашку, радостно ощущать собственную свою храбрость и — что там, хлопцы, греха таить! — маленько любоваться самим собой перед хорошенькими, насмерть перепуганными артистками: вот, мол, я какой, под крылом «лаптежников» смеюсь, и хоть бы что...

Когда бомбы падают, всегда кажется, будто они идут прямо тебе на макушку. И это мы видели. И слышали их сверлящий свист, но никто не сдвинулся с места, не схватился бежать. Это просто никому и в голову не пришло. Ведь там, на грузовике, актеры продолжали свою сцену. И кто мог в такой обстановке оказаться трусливее других?

«Лаптежники», должно быть, что-то все-таки знали о нашем аэродроме. Но аэродром был хорошо замаскирован, и, не разглядев в лесу ничего подозрительного, не заметив никакого движения, они так и ушли, опростав наобум одну-две кассеты. Никого не убило, не ранило. Разбило только бак с питьевой водой. Это была единственная наша потеря... Теперь подумайте, что было бы, если бы при первом их пролете поднялась паника и все врассыпную? Артисты спасли десятки, может быть, сотни людей... Случайность? Нет, дорогой ты мой колхозный скептик, не случайность... Как только «лаптежники» ушли и опасность миновала, а друг мой Сашка Кравец соединил плащ-палатки, выполнявшие роль занавеса, старому актеру сразу же стало худо. Он упал на руки товарищей. Мы втроем еле спустили его с машины и потом уже на носилках тащили

в санчасть. Его лихорадило. Каждый выстрел далекой канонады заставлял его теперь вздрагивать. Вечером, когда гости покидали нас, мы еле уговорили его подняться в самолет. Он все с опаской смотрел на небо, все прислушивался и спрашивал, не могут ли опять налететь враги...

И все же, товарищи, храбрее этого человека я не видел. Да, да, да! Воевал много, два раза горел в воздухе. Бывал подбит. Раз спрыгнул с парашютом над самым вражеским передним краем и, направляя полет шнурками строп, тянул к своим. Всяко бывало. А вот подобного не доводилось видеть...

Полковник замолчал. Молчали и его собеседники.

Сгустившийся туман, будто снег, подгоняемый вьюгой, волочился над водой, посеребрённый светом большой, ясной луны. Где-то очень далеко, должно быть в колхозе, что был за горой, не очень умело наигрывали на балалайке незатейливую повторяющуюся мелодию. Она доносилась, еле слышная, и, вероятно, от этого казалась задумчивой, красивой.

Рассказчик зябко передернул плечами, пошарил в шароварах, достал коробку папирос, угостил собеседников. Одну взял сам. Когда он зажег спичку, все заметили, что пальцы его слегка дрожат.

И каждый из трех собеседников подумал: «Почему бы это?»

1956 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ МАТВЕЯ КУЗЬМИНА	3
ГВАРДИИ РЯДОВОЙ	11
ЕЕ СЕМЬЯ	24
РЕДУТ ТАРАКУЛЯ	35
МЫ — СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ	47
НА ВОЕННОЙ ДОРОГЕ	63
РАЗВЕДЧИКИ	79
РОЖДЕНИЕ ЭПОСА	88
САПЕР НИКОЛАЙ ХАРИТОНОВ	108
ПЕРЕДОВАЯ НА ЭЙЗЕНШТРАССЕ	119
ХРАБРОСТЬ	133

Для среднего возраста

Борис Николаевич Полевой

МЫ — СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ

Р а с с к а з ы

ИБ № 4084

Ответственный редактор *Е. М. Подкопаева*

Художественный редактор *Е. М. Ларская*

Технический редактор *Л. Н. Никитина*

Корректоры *Г. В. Давыдова* и *Г. В. Русакова*

Сдано в набор 11.07.79. Подписано к печати 05.04.80. Формат 70×90/16. Бум. офс. № 1. Шрифт литературный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,53. Уч.-изд. л. 8,35. Тираж 100 000 экз. Заказ № 21. Цена 55 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглаволиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
125047 Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

Полевой Б. Н.

П49 Мы — советские люди: Рассказы / Рис. В. Щеглова. — М.: Дет. лит., 1980. — 142 с., ил.

В пер.: 55 к.

Рассказы о подвигах советских людей во время Великой Отечественной войны.

П $\frac{70803-274}{M101(03)80}$ 251—80

Р2

55 коп.